

ПИСАТЕЛИ О КОСТРОМСКОМ КРАЕ

Вячеслав Шишков



ПРИВОЛЖСКИЙ КРАЙ (ОЧЕРКИ)

Вячеслав Яковлевич Шишков (1873–1945 гг.) – известный русский, советский писатель, автор романов «Угрюм-река» (1933 г.), «Емельян Пугачев» (1938–1945 гг.) и др. Летом 1924 года он приехал в Костромскую губернию и совершил поездку по Костромскому и Буйскому уездам. Результатом этой поездки стала серия очерков под общим названием «Приволжский край». Часть очерков писатель опубликовал в журнале «Новый мир» (1925 г., № 2, 3), а полностью они были напечатаны в 1927 году в II томе полного собрания сочинений В. Я. Шишкова (М.–Л.: Земля и фабрика, 1926–1929) – в книге путевых очерков «Ржаная Русь». Публикация в «Ржаной Руси» отличается не только грамматической и стилистической правкой, но и незначительными сокращениями. Эти публикации давно уже стали библиографической редкостью. Данные очерки представят интерес не только для краеведов, но и для широкого круга читателей.

Прошлым летом 1924 года я направился с котомкой в Костромскую губернию. По совету заведующего Костромским музеем В. И. Смирнова, я решил подняться вверх по Костроме-реке, перебраться в Галич, Солигалич, Чухлому и далее захватить Кологривский уезд и весь при-Унженский край. Но намеченный маршрут удалось

выполнить только отчасти: я успел ознакомиться с краем лишь в пределах между городами Костромой и Буюм.

I. ПОД КОСТРОМОЙ

Каменный век, электрификация и патока

Целой компанией отправляемся из города к устью реки Костромы (обследовать становище доисторических насельников края — мерян). Тут археолог В. И. Смирнов со своими детьми, прочая приставшая к нам молодежь и два деревенских парня, только что кончивших школу второй ступени и приехавших из дальних мест в город, чтобы получить совет, в какие Вузы столиц подавать прошения: им до смерти хочется получить высшее образование и поработать на пользу родного края. Оба они занимаются этнографией, собирают песни, заговоры; один из них, с экскурсией буйской школы, обошел в прошлом году целый уезд, зарисовывая орнаменты наличников и типичные постройки. Вообще, надо сказать, что среди современной крестьянской молодежи — я встречался со многими — необычайно развита тенденция краеведчества, и Костромской музей немало имеет из их рядов настоящих, дельных корреспондентов: присылают нефритовые топоры, стрелы, с точным описанием, где и при каких условиях найдены; иные заняты геологическими работами в своих и окрестных деревнях, другие с головой ушли в фольклор. Например, буйская школа в течение прошлого лета собрала исчерпывающий материал по свадебному обряду, учитель гармонизировал песни, а зимой «русская свадьба» во всей натуральности много раз ставилась школой.

Из разговоров с многочисленной молодежью, стремящейся пройти высшую школу, выяснилось, что большинство из них создало нищую беспросветную тьму забытой деревни и твердо желает, не прельщаясь городской карьерой, вернуться к своим полям и убогим хатам, чтобы претворить звериный быт в уклад относительной культурности.

— Надо работать, — говорят они, — потому что мужичья Русь очень бедна интеллигенцией.

Такое ревнивое отношение к деревне пришло не с ветру: это отчасти внушается учителями, и вернувшимися из плена солдатами, и более или менее развитыми красноармейцами, а отчасти местной интеллигенцией, книгами, газетами, но главным образом — благодаря общему сдвигу всей нашей болотной жизни, духовному вихрю внутренней революции, охватившей сердца и головы мужиков. Деревня кричит, ругает порядки, пьянствует, бьется ножами и колющими, но деревня далеко не та, что прежде. Человек почувствовал, что он человек, и это главное.

На песчаной, намытой гриве деревня.

Это озерко, возле которого мы стоим, — говорит археолог, — называется «Мерь». Тут жили когда-то меряне. Когда же пришли и осели здесь славянские племена, они, в противовес этому озеру, назвали вон то озеро — «[Святым](#)».

Несколько лопат врезались в песок и начали ковырять.

Стойте, не так! — закричал археолог, — Надо культурный слой отыскать. Вот культурный слой! Видите, темные напластования в песке, с кусочками углей. Тут, очевидно, была стоянка. Ройте потихонечку, слой за слоем.

И обращаясь ко мне:

— Вот вы идете по губернии. Хотите, в нескольких словах, знать кой-что из этнологии края? От устья Костромы до [села Мискова](#), куда вы собираетесь, вверх по реке Костроме, был так называемый «Мерьский стан». Этих станов рассеяно по губернии много. Кто была загадочная «меря» — мнения ученых расходятся. Мерь это остатки угров (венгров). Прародина их — Тобольская, Пермская и Вятская губернии. Отсюда, теснимые тюрками, они перекочевали на запад. Часть их осела в Костромском губернии, потом перешли реку Этыл (Волгу), «нигде не нашли ни селений, ни сельских дорог и не питались изготовленными людьми кушаньями, — пишет венгерский летописец, но наедались мясом и рыбами, покуда пришли в Суздаль. Оттуда направились в Киев (888 г.), потом, через Карпаты, в Панионию». Далее, в IX веке, норманны проложили торговый путь от Ладоги по Волге в Булгары. За ними потянулись в Приволжье славяне. Вероятно, славянские селения частично встречались и в более раннее время. Такие названия в крае, как Судиславль, Горесловка, Гридины, Китоврасово, Шеломец, Здемирово — дышат глубокой стариной. В седые времена приходили сюда и новгородцы, сначала в качестве ушкуйников, а позднее с торговыми целями. Марфа Посадница в одном из своих дарственных пишет: «Се яз Марфа, вдова, Исака Андреевича жена, великого Новгорода посадница, дает в дом Николы чудотворца, что у реки Ветлуги, игумену Макарию и старцам вотчину свою, ловища рыбные и земли и воды и лес черный дикий и на той земле деревни (перечисление) с людьми и скотом и животом». Или вот еще, если я вам не наскучил, интересный сохранившийся в моей памяти документ, как заволжские старцы в древности утесняли черемис. Луговая черемиса жаловалась царю на игумена Унженского монастыря Пафнутия и старца Варлаама: «...и в прошлом-де во 166 году в во 168 построили те старцы вновь пустыни (перечисление — где) в их черемисских ясачных ухажьях и крестьянскими дворами поселились. И их-де черемису в тех угодьях бьют и увечат и всякое поругание чинят и стреляют по ним из ружья и многую-де черемису побили до смерти. И от тех же старцев многие ясачные дворы запустели и врознь разошлись. И ныне-де те старцы Варлаам с братней и со крестьяны»...

В это время десятилетняя дочка археолога примчалась запыхавшаяся, с маленькой лопаткой, и закричала:

Папочка, папочка!.. Я культурный слой нашла.

Где?! — и мы направились за весёлой девочкой. Археолог надел очки, встал на карачки и звонко рассмеялся:

Какой же это культурный слой?! Это просто прошлогодний коровий помет, — и подозвал к себе крестьянского паренька.

Слушайте, Александр Федорыч! Промеряйте шагами от бровки холма, до озера и до завода. Только точнее. А я зарисую ситуацию. Что, нашли? Ага! Великолепно! Три наконецника стрел... Где?

Солнце закатывалось. Я лег на песок и глядел в широкие волжские степи. Волга здесь разливается на тридцать верст, здесь весной сплошное море, и лишь правый берег реки

Костромы значительно приподняты, он весь пестрит деревнями и селами. Белеют колокольни, горят кресты, кругом зеленое море трав, и только кое-где желтеют нивы.

Мои спутники заняты своим делом: обмеряют, роют, кто-то купается в пламенеющих закатных водах озера. Воздух тих. Косые лучи солнца загребисты, они обхватывают каждый предмет, углубляют тени, все становится чеканным, выпуклым.

Мне мерещится стойбище древнего человека, который спит, может быть, под теми песками, где я лежу. Вот его табуны несутся птицами из края в край, а он сам только что раскроил дубиной медвежий череп; зверь, издыхая, рычит, рычит и дикий человек, каменным ножом сдирая со зверя шкуру. Я приподымаюсь, всматриваюсь. Прямо на меня идет житель. Но это не печенег, не мерь, это, должно быть, культурный человек нашей эпохи. Но кто же он? Длинные английские сапоги со шнурами, белая чесучовая куртка, шляпа.

Позвольте представиться... Местный крестьянин. Услыхал, что вы из столицы. Очень приятно поговорить...

Он присел на песок. Достал серебряный портсигар и закурил. Лет тридцати, с небольшими белыми усиками, глазки медвежьи, исподлобья, а говорок костромской, быстрый, с захлебцем.

Да, — начал он. — Вот в этом холме разные каменные вещи находятся и прочий старый хлам; а рядом по всей нашей Шунгенской волости — электрификация. То-есть две противоположные культуры. А день, одним словом, сегодня праздничный, гляжу — в песке ученые люди роются, это здесь часто; дай, думаю, пройдусь...

Что ж, у вас электрическое освещение?

У нас?! — восторженно воскликнул он. — А разве не слыхали! Во всех газетах пропечатано. Прошлым летом открытие было. Торжество. А в последствии времени, как водится, молебен. Ну, так, не для всех — для желающих: все-таки другие, которые темные, желают верить, что это самое электричество не от бога, а вроде от нечистика. Ну, все-таки прогресс страшен. Спросите-ка нашего мужика, есть ли у него электричество, он вам ответит: «Даже у каждого шелудивого поросенка под хвостом по лампочке»... Честное слово.

Крестьянин сел, пофыркивая от прилива чувств.

В 1918 году удумали, а в 23-м открыли. Теперь превосходно. Оно, правда, подороже керосина, но все ж таки... Пробовали электричеством пахать — ничего не вышло: и проводка дорога, и плуги не приспособлены, да и не умеем. Впрочем, и земли-то у нас как у журавля на кочке, пахотной-то: у нас главное — луга и картошка. Ведь у нас здесь по всей волости картофелетёрочные заводы. Крахмал делаем, патоку, глюкозу. Да этой самой патоки-то столько нынче наворочали, что и деваться с ней некуда. До тысячи пудов в сутки выгоняем. Думаем вскорости карамель выделявать, ландрин. А всему нашему делу голова — М. И. Стругов из деревни Тепры. Да вон он сам на велосипеде катит.

Рассказчик вскочил и, глядя на нивы, где мелькала сутулая спина, закричал:

Эй, Стругов, Стругов!! Не слышит... Ах, хорош... Ну и башка! Он в Москву от нас порхает, и в Ленинград, и в Нижний — на тебе денежки, только знай работай нам на

пользу — от всех делов крестьянских отстранили его, платим полтора рубля в месяц, да ему и трехсот не жаль — оправдает. Ба-а-шка!.. Нет, еще не вывелись у нас в деревне хитроумные мужики. А в коневодстве — главная суть: ежели управитель не брюхом, а головой думает, все идет как по маслу: лови-бери-подхватывай.

Что же, ваши заводы — кооперативные?

Обязательно... А как же! Сначала было несколько первичных кооперативов, восемьсот пайщиков, а теперь все кооперативы соединились в Шунгенский союз кооперативов — четыре тысячи пайщиков. Попервоначалу, конечно, и частные заводы были. Мы начали их хитроумно утеснять, конкурировать как на молочном производстве, так и на картофельном. Дороже принимать продукты стали по пятаку на пуд, к нам все и понесли. Частные пыхтели-пыхтели, — лопнули. Мы, значит, ихнее имущество умненько под себя, на всем ходу. Так и обрастали. Да вот, ежели вы интересуетесь вплотную, я вам в цифрах. Я ведь в союзе счетовод.

Он достал записную книжечку и торопливо её заперелистывал.

— Вот, пожалуйста... Наш союз в губернии самый старейший. Первый кооперативный терочный завод открыт в селе Шунге в 1909 году, и два завода в селе Корякове. А по всей Костромской губернии в 1919 году было двенадцать заводов в Заволжском районе, шесть в нашем Шунгенском и один в Пушкинской волости. Вот, пожалуйста, табличка:

В 1917 г. 11 заводов, переработано пудов картофеля 130.750

“ 1918 ” 18 “ “ “ “ 197.168

“ 1919 “ 19 “ “ “ “ 56.398

— 1919 год — голодный, тут уж не до патоки, сами картошку с удовольствием ели. Позднейших сведений по губернии не имеется. Хотя известно, что в 1922 году уцелело лишь семь заводов. Но, поскольку мне известно, картофелетерочное производство восстанавливается и вскорости зашибет довоенную норму. А вы все-таки запишите: Шунгенская волость патоку гонит, только мы одни во всей губернии. Мы замечательная волость: вот поедете на пароходе по Костроме-реке, увидите, какой у нас заводе сгрохал. На самом бережку. Сами сделали, сами... В прошлом году. И электрификацию увидите... Все говорят: упадок при новых нравах, упадок... Чорта с два! А почему же у нас вместо упадка — патока. А вскорости ландрин покажется... Вот-те упадок, ха-ха!.. Нет, все от башки да от рук зависит... Как до десятого пота поработаешь, вот-те и патока потечет. Странное дело.

Потная, усталая подошла с лопатками наша компания. Геолог с гордостью открыл коробку из-под папирос и показал каменную дрянь и черепочки.

— Эпоха неолита... За каких-нибудь два часа, — улыбаясь проговорил он.

А крестьянский сын, отирая потное лицо, добавил:

— Вот у меня в деревне замечательный каменный топорик, аккуратненький такой, уютный...

— Уютный? — поднял брови геолог. — А пойдемте-ка домой.

— Папочка, папочка! — кричала из-под откоса девочка, — я культурный слой нашла!..

II. РАЙОН ХМЕЛЕВОДСТВА

На пароходе — Осколки войны — Деревенская грязь — Разговоры за чаем о поэте Некрасове, мужичьих пожарах и колоколе Смерть солдатики — Ликвидация безграмотности — Тяга к «культурному цеху» «Религия подгадила»

Третий свисток — и наш маленький пароходик, пробежав от городской пристани с версту по Волге, повернул в реку Кострому. Осенний дождь и ветер обращают июльский день в сентябрь. Крохотная кают-компания первого класса битком.

Вошедший купец сердито сказал:

Тыфу! Даже сести некуда. И куда его народ по нашей речонке взад-вперед издиит...

С билетом первого класса я спустился во второй: там грязно и вонюче, как в конюшне, зато шумно, говорливо. Прямо на полу валяется одетая в прорехи красивая молдаванка и кормит ребенка грудью. Возле нее всклокоченная, черная старуха, похожая на ведьму, и бородач с громадными — в кулак — бубенцами вместо пуговиц на трепанной куртке. Это беженцы из нашей Бессарабии. Старик-крестьянин, румяный и улыбчивый, чавкая ситник с чаем, весело спорит с молодым коммунистом, тоже крестьянином, но, видимо, советским городским работником, едущим с молоденькой женой на отдых в деревню. Сначала спорят о религии, потом о деле.

— Как это от природы мир произошел... — подмигивая публике, наступает старик. — Глупая твоя наука, раз она гласит, что хозяина в мире нет. Ну а как же вот этот самый пароход — тоже природа создала? Али ему хозяин есть, скажешь — пролетарий работал его? Отвечай.

Слушатели улыбаются, подзуживают коммуниста, поддают жару.

Стой, стой, папаша! Я тебе докажу...

А чего мне стоять! Я и сидя... Нет, брат, бог всемогущ, вот и создал все.

А вот и не всемогущ. Пускай-ка, в таком разе, козырного туза покроет...

Туза-а-а?! — изумленно тянет старик и скребет под бородой. В его глазах скрытый смех и ужас.

Народ смеется.

Что, дедка, съел?!

Ну, ладно, бога в сторону, — осипшим голосом ввязывается молодой крестьянин, черный, как арап, и взъерошенный. — А вот ты, товарищ, ответь, почему при новых правах такая масса безработных?

Безработных? — переспрашивает коммунист и напряженно поводит бровями. — А вот почему...

Дуть надо этих безработных. Лодыри! — неожиданно приходит на помощь коммунисту старик-богозаступник. — Это не от правительства зависит, а от лени. Да вот я вам скажу... Весной было дело так. Пригнали, значит, мы плоты в Кострому; пошли пильщиков искать и прочих людей для береговой работы. Лесотдел нагнал безработных с биржи труда человек восемьдесят. Вот попилили они, поваландались денек-другой, да и ушли... Вишь ты, работа очень тяжела, а у них ручки нежные, и окромя того — возле сырости, закашлять можно... Ах, сволочи! Да таких людей в Волгу надо с крутого берега швырять... Безработные... Много таких безработных под баржами на Волге на боку лежат, легкой вакансии дожидаются: кого бы за горло сбреть...

Ну, а почему же, — трясет коммуниста за рукав молодой крестьянин и обводит глазами мужичьи бороды, как бы ища поддержки, — по какому же такому правилу нашего брата мужика в правительство не допускают? Почему дальше уезда нет мужика в правительстве?

Вот так раз! А Калинин-то?

Врешь! Калинин наполовину мужик, наполовину рабочий цех. А почему же, когда это... Да в двадцатом годе, кажись, мы крестьянский союз хотели организовать, а нас намахали в Москве: вы, дескать, серая масса...

Не серая, а пестрая: среди вес много богатеев, кулаков... Под пролетария вас трудно уравнивать ... Организуйтесь в кооперативы...

В кооперативы?! Значит, мужику нет доверия?!

Как нет! Полное доверие. И доверие и поддержка.

Поддержка?!

Пароход заголосил свистком.

Село Шуньгаз... Пойдем-ка на ихнюю механику любоваться, — примиряюще сказал старик. — Вот у них безработных нет. Этих безработных да пьяни вот как дрючить надо — говори, где чешется... Безработные...

Выхожу на палубу. Через мелкую сеть дождя сереет высокий вечерний берег. На самой берегу электрическая станция, дающая световую силу двадцати трем деревням волости. Левее — красное двухэтажное здание картофелетерочного завода.

Пароход взял двух пассажиров и заработал дальше. В некоторых плесах река Кострома почти сплошь преграждена плотами; на плотам много свежерубленных, красивых, словно игрушечных, домиков: они сплавляются вниз, на продажу в безлесные места.

Часов в шесть вечера пароход приткнулся к левобережной луговине и сбросил трап. Нагрузившись котомками, человек двадцать пассажиров двинулись в путь, к селу Мискову, лежащему отсюда верстах в трех. Река делает здесь большую излучину и часа через два снова подшибается к селу, с противоположной стороны. Пока пароход шлепает этот путь, мы успеем дошагать до Мискова. Дорога трудная: дождь, скользь, холодный

ветер. Беженцы-молдаване хмуро шагают. Они путаются по России с 1914 года, вышли с родины артелью в тридцать человек, теперь их осталось с десяток, остальные померли. Живут в нищете, в грязи. Где выпросят, где своруют.

Тяжело жить-то? — спрашиваю рядом шагающую красивую молдаванку с ребенком.

Ох, товаришш. И не говори... Вот дите малое, свое, в так бы об камень бросила и сама бы в речку... Ох.

Никакой! родины не стало у нас, — бубнит бородатый молдаванин. — Куда идем, и сами не знаем... Вот она война. Чтоб Вильгельма лихорадка затрясла, проклятый чалвэк...

Лес кончился. Поляна, Мисково. Начинается непролазная грязь. Молдаванка упала с ребенком и плачет.

А нам недалеко, — кричат веселый мужичок с веселой бабой. — В эту хату нам. Мы к свояку в гости... А вам дольше придется похлюпать... Грязищи здесь по горло.

Вступили в село. По дороге не пройти. Плетемся возле изб, хватаясь за стены, чтобы не кувырнуться в густой кисель. Кой-где слышались раздражительные матерки. Парнишка протестуяюще снял портки и идет среди грязи с видом победителя. Матрос перебрасывает котомку с плеча на плечо и на всю улицу кричит:

— Какие глупости, что человек произошел от обезьяны! Вовсе даже не от обезьяны, а от свиньи! Каменных домов, черти, наделали, а нет, чтобы плевый тротуарчик проложить... Культу-у-ра!..

На него из глубокой грязи глядит розовым пяточком счастливый боров и насмешливо крутит хвостом, как штопором.

* * *

Не приютите ли нас, батюшка? — обращается мой спутник к стоявшему у ворот красивого полукаменного дома священнику.

С удовольствием бы. Но у меня у самого приехавшие гости.

Очень жаль, что мне не удалось познакомиться с матушкой. Эта энергичная пожилая дама, говорят, занимается общественной деятельностью — ревностно работает в местном политпросвете. Молодежь очень ей признательна, но искренности ее не вполне доверяет. Почему?

Да знаете, все-таки попадья, кутейницкий мелкобуржуазный класс. А впрочем, помощь от нее большая.

Мы остановились у крестьянина -средняка, в каменном двух этажном доме. Пили чай в очень чистой горнице: обои, занавески, простая, красивая мебель, сделанная руками хозяина, засиженные мухами фотографии, диплом Костромской выставки за образцовое ведение пчеловодства, деревянное чучело утки, в которое вклеен был не один заряд дроби.

Э, да вы пчеловод и охотник.

Как же! И медок люблю, и с ружьишком побаловаться. У нас места для охоты ладные. Вот верстушки за три начинается большой лес: и медведи водятся, и лоси. Даже сам Некрасов стихотворец, Алексей Николаевич, частенько в наши местности наезжал. Как же...

Недалеко отсюда [деревня Шола](#), у него там дружок был. Может, знаете «Кому на Руси жить хорошо», там написано посвящение нашему мужичку. Али в «Коробейниках» это — забыл я. Матрена! — крикнул он жене. — Принеси-ка из чулана Некрасовскую книгу! Как же... И «Коробейники» из наших местов списаны. А тот охотник, который убил парня-коробейника, из деревни Сухоруковой, был посажен за это в тюрьму, да помещик похлопотал за него, крепостной был, барину убыток — ну, выпустили. Эй, отец! Иди чай пить!

Из соседней комнаты, где кухня, кряхтя поднялся с табуретки старик — лапти плел — высокий, благообразный, с болоной на лбу, и сутуло пришагал к нам, отирая рукавом взмокшее лицо.

— А про Мазая да про зайцев-то, — сказал старик, крестясь и залезая за стол, — тоже в наших краях. Вот вы проплывали мимо села [Спас-Вежи](#), оно от реки-то в стороне чуть-чуть, отсель верст пятнадцать, там Волга сильнее топит местность, чем у нас... Там бани по край села все на высоченных столбах стоят, на сваях, как на куричьих голяшках. И житницы так же самое. А у кого низкое место — и сеновалы. У другого сеновалище, как ковчег в потоке во всемирном — страсть смотреть, какая громадина, а то снесет. Там лестница в баню пятнадцать ступеней, а у нас ступеней с десяток. Вот зайчата действительно там и сгружаются на пригорках по весне. И теперь остался там род — Мазаевы. Да я и сам лавливал косых, и сам вроде Мазая вышел.

Матрена подала потрепанную книгу. Хозяин долго листал страницы.

— Вот она: [«Коробейники»](#), так и есть; «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу, крестьянину д. Шоды, Костромской губернии». А сам-то Гаврила помер, теперь его сын, тоже охотник. Мы частенько с ним хаживали, ОХОТНИК ЗНАТНЫЙ. Вот, слушай:

Как с тобою я похаживал

По болотинам вдвоём,

Ты меня почащу спрашивал:

«Что строчишь карандашом?»

— А позвольте вас спросить, будьте так любезны, — обратился он ко мне, крутя свою рыжую бородку. — Вы тоже вот все в книжку запись образуете, вы не стихотворцы, современем?

* * *

Я понимаю, почему здесь так скучены постройки. Всю окрестность, ровную как блин, топит весною вода, и на небольшом пригорке, где расположено село Мисково, постройки жмутся друг к другу, как Мазаевы зайцы. Иногда расстояние между смежными избами столь невелико, что бабы могут передать из окна в окно ухват, горшок, а нет — так и головешку разжечь печь.

— На моих памятях, — говорит старик, — наше село четыре раза горело. То от недосмотра, а то и от поджогов. Есть такие, стало быть, подлецы, пятнай их черти, очень даже любят красного петуха пустить. Он, анафема, подожжет, да дивуется — ловко ли пластает. Прямо беда. После четвертого пожара — в 1910 году — порешили мужики строить кирпичные избы, благо суглинок у нас богатеющий. Теперь без малого все село каменное. Сами и кирпич обжигаем. Да оно и дешевле лесу. На избу в три-четыре окошка надо двадцать — тридцать тысяч кирпичей; раньше он по три рубля с тыщи был, теперь до шести рублей. Оно и красиво глядеть, бытто город, и опасности меньше, и страховка дешевле. Гляди, какое село-то, а! Где еще найдешь такое?

Дома, действительно, один к одному, красные, под драничной, тесовой, иногда железной крышей. Встречаются дома двухэтажные, с террасой, балкончиком. Есть и деревянные избенки, видимо уцелевшие от пожара, или хозяева которых боялись перейти на новшество.

— Страсть какие бывали пожары, — повествовал дед, почесывая шишку на лбу. — После первого пожара колокол распаялся, — а колокол у нас на славу, — звон в Костроме слышать. Оловянишников перелил нам в Ярославле. Но по случаю пожара опять колокол упал, опять возили в Ярославль. Там нас обманули, сто пудов украли, а заместо тысячи сорока пудов — девятьсот сорок. Хлопот с этим колоколом было выше головы, а греха — и не отмолишь. Вот ты штуки разные в книжку пишешь, можешь про колокол записать. Как стали подымать — народищу вся волость собралась, усмотрели на колоколе надпись, мол «Отлито сие колоколо при императоре Николае II и при крестьянах-попечителях таких-то», — три фамилии обозначено. Народ к ним, к попечителям: «По какому праву вы, лешегоны, пожелали без спросу на колоколе упоместиться? Счищайте, а то веревки обрубим, не станем подымать!» Те не желают — им лестно красоваться рядом с царем. Мы их за грудки, они бежать. Целую неделю колокол не подымали. Потом они выставили нам винца и сказали: «Подымайте без задержки, мы наверху счистим, по крайности звон услышим». Мы, известно, подняли, потом сердце улеглось, так и забыли, а они и не подумали счищать. Очень надо.

* * *

Мы сидели на солнцепеке, на завалинке. От густого киселя, заполнявшего все улицы, шел болотный дух. Подходил народ, присаживался.

Хорошо бы колокол послушать, — сказал мой спутник.

А вот услышишь. Завтра будут вдову хоронить. Не старого еще положенья, крепкая бабочка, а вот свернулась по своему бабьему уму.

Что с ней?

Да видишь ли, какое дело могло произойти. Известно — вдовье положенье, ну, слабовата оказалась на любовь на эту самую, чрез то в тягостях стала, значит, понесла дитё. Девки у нас, известно, очень смирные, за собой следят, мужние бабы тоже баловством не занимаются, а солдатке — бог велел. Ну, ладно... А она застыдилась, а может, не пожелала камень такой на шею брать, — дитя из утробы вон, скинула, значит. Да чего-то плохо с ней бабка пообиходилась, — ей хуже да хуже, принудили в город ехать, да уж поздно спохватилися: приехала из города, да и померла третьеводнишь, царство ей небесное.

— Тьма потому что, — сказал дядя с длинными, как у страуса, ногами. — Право перевернулось, а настоящего ученья ребятам нет. По газетам слышать, к десятилетию революции безграмотность хотят вывести, чтоб старых баб да стариков грамоте учить. Глупость это на мой резонт. Вой мою дуру учили, Мавру, сядет на лавку — бы, вы, гы — там теленок кричит, пойло давать надо, а там кур кормить, да квашню ставить, так ни шиша и не образовалась. Да и ни к чему. Наш век прожит: а вот что ребята не учатся, это не резонт.

Почему же не учатся?

Да как вам сказать, не соврать... Иногда родители воспрещают, не в сознании, а то и рад бы, да не в чем ребенчишка в школу выпустить, сапожишек нету, а бывает и так: походит парнишка недели две, книг не на что купить али бумаги, карандашей. А надо вот как. Надо ученье сделать обязательным, как солдатчину, и для девочек тоже. И чтоб от школы были все способности: книжки, перья. Раз с нас налог идет — можно и нам что-нибудь сделать от правительства, не все ж рабочего ублажать: без мужика рабочий тоже много не надышит. А старух которых — по шее от школ, не то что учить, чорт их не видал! Да чтоб хороших учителей, самостоятельных. Вот тогда и будет Русь грамотная, старичье к тому времени переколеет. Это резонт. Например, я желал бы пустить своего парня по культурному цеху...

Это какой же культурный цех?

Ну, там агроном, либо доктор... А средств нет никаких. Вот беда. Вот мой сосед учит сына в городе Костроме, ну и работает на него вот уже три года, навещает его каждую неделю, ездит в город с кладью, для заработка, и все на сына уходит, а свое хозяйство день ото дня хуже.

А школа есть у вас?

Есть, да дрянненькая, не по селу, — сказал чернобородый, бывший в плену, крестьянин. — Была бы у нас давно хорошая школа, и деньги были у общества сурьезные, да религия подгадила. Это еще при царе, — одни, значит, за школу голосовали, малая часть их, а другие — с большого ума — иконостас подновлять. Вот теперь иконостас гормя-горит, весь в золоте, а молящихся нет. И школы нет.

— Надо строить.

— Да вот стараемся. Теперь за ум взялись, маленько дурость-то вышла эта. Теперь постановили наши два селения — Мисково и Жарки, староверческая деревня, богатая, в версте от нас — отдавать в аренду свободный покос, это тысячи три-четыре в год, пожалуй, — и выручку копить в фонд школы. Оба наши селения долго шумели, где быть школе — у нас или у них, чуть до мордобоя дело не дошло, всякому селению лестно. Решили две школы выстроить, каменные, конечно, двухэтажные. Лет через пять сгροхаем, а может — и раньше, ежели денег занять сумеем. Завод наш начал уже кирпичи вырабатывать, двести тысяч по заданию нынче должен обжечь. Техник приезжал, планты снимал, школа будет с фасадом, как у порядочных людей. Всем делом вертит наш мужичок, конечно, — А. П. Серегин; он председатель кооператива и член местного клуба. Очень уважающий человек.

Я хотел закурить, но взглянул на дощечку, прибитую к угловому дому, и спрятал папиросы. На дощечке — на всех углах улиц такие дощечки — надпись: «В улицах табак курить строго воспрещается».

— Где же у вас курят, на сеновалах, что ли?

— Ничего, курите. Это можно. Это для фасона только.

Солнце садилось. Колокольня белой верстой вздымалась в небо и опрокидывалась в тихий сонный пруд. В небе плыл коршун. Петухи подали сигнал, и все цыплята, как в решето, провалились во дворы.

Цифры — Голод — Пастуший рожок На хмельниках Пасека В чайной - Стенная газета - Комсомольцы — Благочестивая бабка, шутник-хозяин и красавица Груняха -- Картинная галерея

Хмелеводство в Костромском крае, в частности в Мисковской волости, существует с незапамятных времен. Первое научное обследование мисковского хмелеводства было произведено в семидесятых годах прошлого столетия директором Петровской С.-Х. Академии Н. И. Железновым.

Район хмелеводства расположен в пойме реки Костромы, вверх по ее течению. Он начинается на десятой версте от города Костромы и тянется до сороковой версты.

Общая площадь хмельников всего культурного района и цена хмеля по годам таковы:

1903 г. 430 дес. по 10 р. 50 коп. за пуд.

1914 «. 509 « 10 « « «

1918 «. 365 « 3 « 50 « «

1920 «. 112 « 1 « 50 « «

1922 «. 186 « 8 « « «

1923 «. 325 « 25 « « «

Из таблицы видно, что наибольшая культурная площадь была в 1914 году; с начала войны и запрещения выделки спиртных напитков (и пива) площадь хмелеводства стала падать, достигнув в 1920 году 112 десятин, т.е. всего 22% площади 1914 года.

— Был несусветный голод в наши места, — печаловался мне крестьянин. — Ведь у нас только хмельники да луга и существуют. Мы не как другие-прочие, хлебопашеством не занимались: местность нашу водою кроет. А как ударил голод, вместо хмеля картошку стали сеять, пшеницу. Да обрабатывать-то нечем было: ни плугов, ни борон... Спасибо, из других деревень на помощь пришли. Наняли их в работу. Только ничего почитай не уродилось у нас. Что и было, что и было — аж жуть берет. Народу перемерло — как от холеры от какой. Только тем и спасались, что на картофелетерочные заводы ездили, подбирали там в отвалах отбросы картофельные от обработки. Привезешь эту гниль домой, в избе страшная вонь образуется, и над всем селом-то облаком вонища стоит. И ели. Плачешь, а ешь. В Бежецк за мукой ездил; десять пудов вез — отобрали. Повыли мы

всей семьей с малыми ребятами. Поехали от общества в Вятскую губернию, пятеро самых верных мужиков, нам общество много денег доверило. Купили тысячу пудов муки, дорогой отобрали всю до фунта. «Не сдохнете, говорят. Люди лучше вас, говорят, помирают с голоду». Вернулись мы ни с чем. Дома нас мужики едва не убили. Да мы и не боялись: смерть лучше. А тут прослышали, с низу мимо нас пароход идет в Буй, хлеб везет. Мы за ружья. Целая войнишка была. Отобрали тыщу пудов, отправили: «Езжай с богом дальше». Однако недели через две отряд пришел, кой-кого порасстреляли. Ну, да чего об этом толковать, дело прошлое, как-никак — живы остались и помалехоньку на старую точку лезем.

Сколько ж нынче хмелю у вас?

Да как и до войны.

День был яркий, солнечный. Сегодня праздник. Мы вчетвером идем в хмельники. С нами Александр Александрыч, студент Свердловского университета, из местных крестьян.

Сначала огородами. Ни огурцов, ни капусты нет. Вообще в Костромском крае огородничество не развито.

А вот и знаменитые свайные постройки. На высоких столбах — как на «курьих голяшках» — взгромоздились риги и бани. Их целая деревня. Мне припоминаются слова В. И. Смирнова, заведующего Костромским музеем:

— Увидите интересное зрелище, вроде свайного Рабенгаузена близ Цюриха... Особенно во время весеннего разлива занятно посмотреть...

Мы совершенно свободно проходим под этими постройками, под некоторыми можно даже проехать верхом на коне.

Пересекаем выгон, изрытый свиньями, истоптанный скотом. На пригорке три пастуха. Просим пожилого поиграть в рог. Охотно соглашается. Рог берестяной, длинный, аршина полтора. Пастух сплюнул, надул щеки, выпучил глаза и задудил. Простая, непередаваемая мелодия полилась по зеленым полям; мягко и звучно, с каким-то надрывом вылетали звуки то круглыми, веселыми мячами, то бесконечной тугой струей, хватающей за сердце, как плачущий стон. Я еще раз слышал эту свирельную песню утренней зарей, в лесу. Будто сильный женский голос во всю грудь и от самого сердца звучал без слов. И если закрыть глаза, увидишь русскую бабу, пышную и румяную. Вся в кумачах плывет по солнечному воздуху, скрестив на груди руки, и поет, поет, не зная о чем, не зная для кого. Голос ее более тосклив, чем весел, — может быть потому, что тьма прогоняет солнце, потому, что удел земли — печаль.

— А и хорошо ты, Ерема, играешь, — сказал свердловец.

В его глазах блеснули слезы.

— Играю ничего, ладно, — согласился пастух. — Куда лезешь"! Ксы! Ксы!.. Ишь вы, ошалели... Гуляй, гуляй!.. — покрикивал он на коров, сбежавшихся на звуки рожка.

Переходим ручеек, огибаем рощу — и нос к носу с плантациями хмеля. Это бесконечный молодой лесок, сажени две высотой, ярко-зеленый и духмяный в знойный день. Хмель посажен правильными, как виноград, рядами. Хватаясь усиками, он цепко вьется возле

тычин. Земля у корней окучивается в грядки. В стороне, у дороги, стоят высокими конусами запасные жерди, словно остоящие стойбища. Две женщины и мальчик полют свою полоску хмеля — рвут прямо руками сорную траву, а старуха подравнивает землю маленькой лопаткой.

— Бог в помощь! — кричит наш спутник, дядя Герасим, и обернувшись к студенту: — Теперича неизвестно, как и приветствовать-то. Другому бога-то помянешь, в морду даст... Как, Александра? А?

Но Александр Александрыч улыбается и говорит мне:

Хмель у нас неважного качества, впрочем, для домашнего пива очень хорош. Приходите к нам, пивцом угостим. Братейник умеет здорово варить с медом — у него пасека своя, — а секрет никому не говорит.

А почему же высоко-культурные сорта не сеют здесь?

Условия не позволяют. Хмель мы садим на гривах, т.-е. на более или менее возвышенных местах, где воды весной бывает не больше полутора аршин, и быстрее скатывается, чем с низин. Такое затопление хмельников и полезно — плодоносные наносы, — и вредно, потому что сокращает время, нужное для вызревания. Нужно, чтоб вегетационный период был дней сто тридцать, а у нас он девяносто семь дней. Незатапливаемых же участков земли здесь вовсе нет.

Что же, по-вашему, нужно сделать, чтобы улучшить хмелеводство?

Да специалисты говорят, что все дело у нас неважно поставлено: и посадка слишком частая, и удобрение почвы неважное, и уборка и сушка продукта неправильные...

Дядя Герасим возразил:

Неважная... неважная... Что хочешь охаять можно. А вот они бы показали нам, спецы-то!..

Вот, вот, — сказал студент. — Конечно, надо опытное поле заложить и попытаться вывести скороспелый сорт хмеля. А ведь с хмелеводством шутить нельзя. Его по всему району в прошлом году на 633.750 рублей продано. Он вывозится на нашего края и в Ярославль, и в Нижний, и в Тверскую губернию. Вообще хмелеводство имеет существенное значение не только для отдельных хозяйств, но и для всего края в целом.

А сколько, примерно, с десятины можно снять пудов?

По-разному, год на год не приходится, — сказал дядя Герасим. — Вот я запомнил — в 1920 году по тридцать пять пудов с десятины взяли, а в 1911 году — по сто два пуда.

Студент повел нас на пасеку брата. Дядя Герасим, ухмыляясь во все свое бородатое лицо, сказал:

Вот приехали бы вы осенью, когда хмель обирают. Эх, и веселая пора, особливо ежели погода хорошая выдается, да урожай добер. К нам тогда народу много приходит наниматься из других деревень, все больше девки. С работ идут с песнями, с играми. Пиво тогда варим, гуляем. Парни невест себе выбирают. Приезжайте-ка!

Я не парень, сказал я. — Жениться не собираюсь.

Я не к тому, — засмеялся дядя. — А так, для усмотренья дел... Авось и пропечатаешь.

Дорогой беседуем о религии, о положении интеллигенции в деревне. Студент говорит, что вера в церковь в русском народе пошатнулась, но религиозная потребность есть. И если суждено быть какой-нибудь религии, то без бога и ангелов — уж слишком сентиментально, — а будет религия человеческая, земная, ради человечества, с главной заповедью: «Живи сам, давай жить и другим».

— А что касается интеллигенции в деревне — учителя, агрономы, землемеры, разные спецы, — то ей очень трудно. Она как бы между двух огней: с одной стороны требование советской власти, с другой — требование крестьян уважать их уклад, ныне отживший.

Дядя Герасим, видя, что я всем интересуюсь, напряженно поводит бровями, придумывая, чем бы меня удивить.

— А вот, — говорит он, — в досюльные древние времена мы не в проходимых лесах жили, занимались разбоем. И никто не мог к нам пройти. А кто проходил, тех называли «проходимцами». Также насчет кладов. Кладов много у нас здесь в разных местах положено заповедных. Вот за рекой холмик есть, там, другие видят, ночью в виде теплины горит. Пробовали брать, не поддается, страшает.

Пасека небольшая, ульев на двадцать, обсаженная липой и малинником. Пчелы сегодня сердитые — были затяжные дожди, сегодня ясно — работают во-всю, не подходи. Среди пасеки — опять на курьих голяшках — стоит новая изба. Поднимаемся по лестнице. Пчелы выются возле головы.

Не машите руками, — предупреждает студент. — Спокойно.

Да ведь она, бог с ней, ежели в бороде запутается, обязательно жиганет, — говорит дядя Герасим. Одна мне как-то в лоб порснула, едва с ног не слетел.

В избушке пахнет медом. Лежит вощина, стоят рамки из-под меду, кадушки, центробежный аппарат.

— Здесь у нас зимой ульи спасаются, а летом караульщик живет. А то все упрут, хулиганов хоть отбавляй, — говорит студент.

Мы здороваемся с сидящим у окна, на обрубке, человеком. Это сторож. Ему на вид лет тридцать, испитой, тщедушный, покашливает. Он инвалид, был ранен и контужен в германскую войну, местный крестьянин. К физическому труду совершенно не пригоден.

Когда мы вошли, он сапожничал, стряпал какие-то непомерной величины бахилы.

Отчего это у тебя физиономия-то вспухла, Яков?

А? Не слышу!.. — кричит он.

Желтое лицо его, действительно, в шишках, и полузакрылся глаз. Студент повторил вопрос.

— А-а-а... — улыбается Яков.

Его лицо принимает придурковато-обманутое выражение, он фыркает смехом и сипло говорит:

Сво-о-о-лочь...

Кто?

Да старик один, дедка Егор Нестеров. У меня, понимаешь, страшный ревматизм в ногах, а дедка присоветовал, чтобы пчелы хорошенько нажгли, бытто ревматизм проходит от пчелиных укусов. Сними, говорит, портки, да хорошенько раздразни пчел-то, нажальят — и все пройдет. Я, понимаешь, обрадовался этому рецепту, снял штаны, да ну, благословясь, хворостинкой по ульям бить, Они и взвились; я, значит, к ним задом норовлю, да ногами лягаюсь, они на ноги нуль внимания, да как начали мне в морду стегать. Я прямо округовел, не знаю, куда бежать. Загнул на башку рубаху, да во весь дух в избу по лестнице. Прибег, а там двух девок чорт принес чоботы чинить. Девки как взвоят, думали, лесовик явился, а после того в хохот; а я уж и глазами не могу взирать, оба глаза затекли, часа два холодной водой промывку делал. Вот что значит старых дураков-то слушать, — заключил Яков, посасывая трубку.

Дядя Герасим раскатисто хохотал и все выпытывал у Якова, не ослепли ли девки..

Мы вышли и стояли на верху лестничной площадки. Пасека — как сад. Ульи выкрашены в разные яркие цвета, чтобы пчела знала свой дом.

Это место тоже вода обливает весной, — сказал Герасим.

Да, — подтвердил студент. — А липа как раз тогда в цвету. Чтоб пчелам дать работу, ульи привязываем к деревьям, поперх воды. На лодках все это делается. Весной много пчел погибает. Прогонит далеко ветром, ей и сесть негде. Едешь на лодке — много пчелок погибших плывет. А другие на тебя садятся, отдыхают.

* * *

Я стою, плотно прижавшись к стене. Напротив меня полукаменное двухэтажное здание. В нижнем этаже чайная, в верхнем — народный дом. Среди дороги, под навесом, общественные весы, на столбе маленькая иконка.

Мне хочется перебраться через дорогу к чайной; я меряю глазом глубину киселеобразной грязи, и мною овладевает трепет. По стенке, прямо на меня идет девушка в пальто, калошах и шляпке. Мы друг друга обнимаем в охапку, чтобы не упасть в грязь, и когда девушка встала на сухое место, я спросил ее, не знает ли она, как крестьяне попадают в чайную. Она улыбнулась и ответила:

Идите вот до того угла, потом сверните направо, мимо общественной сыроварни, кстати, сыру можете купить, очень хороший сыр, 35 копеек фунт, а от сыроварни огородами, мимо колодца держите влево и как раз подойдете к чайной с задов. А вы кто такие будете?

Удовлетворив ее любопытство, я направился на сыроварню. Сыр, действительно, оказался отменным и дешевым. Скота в заливному районе держат порядочное количество, молочное хозяйство, в частности сыроваренное, налаживается и крепнет. Как в Мискове, так и в

других селениях, где мне удалось побывать, хозяевами молочного дела являются кооперативы.

Итак, я с головкой сыра вхожу в общественную чайную. Душно, наплевано, жужжат стада мух, как комары в тайге. Грязи значительно меньше, чем на улицах. За топорными столами сидят крестьяне в картузах и сапожищах, пьют чай с ситным, который выпекается рядом, в пекарне кооператива. Все взгляды сосредоточиваются на мне, на головке сыра, на моей кожаной куртке. К кожаным курткам даже и в чайных относятся с некоторым мистическим не то страхом, не то почтением. Шумные разговоры спадают тона на два, жужжание мух слышится отчетливее, и еще слышнее усердное сопенье торчащего за стойкой нечесаного, с диким заспанным лицом парня. Я подхожу к парню и прошу дать мне чаю, ситного и молока.

Кипятку с чаем подам. А молока нету, — гнусит он.

Нельзя ли криночку достать?

Нет, нельзя.

Тогда от двух столов в два голоса закричали на него:

— Иди, чортова башка!.. Как это нельзя достать?! Не видишь?!..

Парень тотчас же прозрел. Увидав кожаную куртку, он подобострастно сказал мне:

— Садитесь, товарищ... Сейчас принесу кринку. Топленого, что ли, желательно?.. Сейчас, сейчас.

Мне хотелось завести разговор, но темы не наклевывалось. Начал в шутливой форме с грязи.

— Как же вы по такой грязище ходите?.. А вдруг который выпивши?

— Бог миловает, — ответил старик.

Рыжебородый же, с бельмом, обернулся ко мне:

А вот как... — и выплюнул влетевшую в рот муху. — А так, пьяный-то, бывает, вываляешься, что неизвестно, где и морда.

Мы, товарищ, редко пьем! — кто-то прокричал от задней стены, где сидела на скамейке группа крестьян, просто зашедших покурить. — Другой раз осенью случается о празднике, музырнешь, а тогда уж грязи не живет такой, подстынет. Это с дождей.

Толкуй, не пьем! — протестующе произнес от окна кудрявый, высокий молодец. Он глядел на меня в упор своими быстрыми глазами и обзывал крестьян пьяницами и лежебоками.

Ты не пьяница, ты не лежебок! — набросились на него хором. — Мы лежебоки, да в сапогах, а ты и старатель, да в природных. Лодырь... Твое дело народ мутить...

И кто-то рядом — ко мне:

— А вы, не обессудьте, партийный будете?

Моя беспартийность принята была к сведению, и народ стал откровенней. Потекла набившая оскомину старая песня про белого бычка: о прижимке, о больших налогах, «с нас дерут, а нам ничего не дают».

— А кто пьет-то? Комсомол же ваш и пьет... Постой, постой! Не ори! Глотка-то широкая какая... — кричит рассказчик на кудрявого молодца. — Например, послушайте, как происходит дело. Соберутся эти комсомольцы перед праздником на мост, да проезжих крестьян и останавливают: «Стой, что везешь?!» И ежели у мужика самогон окажется в телеге, сейчас бочонок заберут, а мужику: «Айда за нами в исполком!» Ну, мужик, известно, перетрусит, настегает лошаденку, да и был таков. А комсомольцы и жрут самогон, а нет, в продажу пустят.

Кудрявый молодец стучит кулаком по столу и злобно бросает:

— Врешь, врешь!.. Это другие ваши парни хулиганят... У нас дисциплина... Да за это бы...

Его поддерживают два-три голоса:

— Чего неправду говорить... У нас так принято: что бы худое не стряслось, вали на комсомол... Чушь! У меня у самого Петрушка комсомолец, а худа не видал от него...

А по какой же вы части? Командированные, что ли? — поддевает меня с ласковой улыбкой старичок.

Нет, я человек свободный, брожу по России, учусь жить, учу жить, сочиняю книги...

Да, да, — ядовито замечает старичок. — Легкая вакансия. Хорошо которым в городе жить: не жнут, не сеют, а...

Смыслеишь ты!.. — кричит старичку кудряш. — Они головой работают, они с наших глаз слепоту снимают. Такие-то люди... Петух старый!..

Я иду к выходу, останавливаюсь возле стенной газеты. Огромный формат, рисунки.

— Только сегодня вывесили... Первый номер, — подходит ко мне кудрявый молодец. Энергичное лицо его светится умом. В нем много от города.

Читаю стихи:

Мисково, пьяное царство.

Скоро ли к свету пойдешь,

Бросив гульбу и ухарство,

Жизнью иной заживёшь?..

Несколько заметок, где прохватываются местные порядки и отдельные лица. А вот поразившая меня статейка, написанная, конечно, безграмотно, но по серьезному вопросу. Как еще темна жизнь нашей деревни, и какую большую пользу может принести

крестьянину даже стенная полудетская газета. В статье предупреждаются местные жители о непосредственно угрожающей им опасности поголовного заражения сифилисом. Дело в том, что одни из сельских пастухов — сифилитик. А по существующему обычаю, пастухи питаются и ночуют у крестьян, переходя по очереди из семьи в семью. Едят, как водится, из общей миски вместе с хозяевами, спят на тех же самых подушках, словом — путь для заражения прост. Я не догадался навести справки о состоянии здоровья мисковцев, но всякому известно, что некоторые русские деревни поголовно поражены сифилисом, причем распространение этой болезни шло внеполовым путем.

Я на этой статье стенной газеты остановился потому, что она говорит о вопиющем факте, который проморгали сельсовет, исполком, врачебный пункт, и лишь крестьянская молодежь затрубила о нем на все село. Нет, врет старик. Я видел этих подростков вплотную и смело могу сказать, что не они грабят на мосту проезжих. Плохие выйдут из них бандиты.

А познакомился я с комсомольцами в их клубе, на верху чайной. Я обещал им прочесть свои рассказы. Разговор был днем. Кудрявый молодец, оказавшийся секретарем коллектива молодежи, сумел привлечь к вечеру слушателей не только из своего села, но успел оповестить и другие деревни.

— У нас дисциплина, — гордо заявил он. — Раз кому приказано — беги, хочешь на своих ногах, хочешь верхом. Восьми человекам наряд был дан.

Пред чтением я присутствовал на деловом заседании коллектива. По-настоящему шевелят мозгами и сызмальства приучаются скопом обсуждать и решать свои дела.

После заседания миловидная девушка в коричневом форменном платье, похожая на городскую гимназистку, выдавала книги подписчикам. Она заведует библиотечкой коллектива, комсомолка, кажется, дочь бывшего торговца. Дело у нее идет быстро, с улыбкой, с шуткой. «Товарищ Вера», «товарищ Ваня», «товарищ Скворцов», — звенят молодые голоса. Библиотечка небольшая, но правление кооператива обещало выписать на триста рублей книг.

— Кооператив — наш папаша, — говорит она. — За всякой нуждой обращаемся к нему.

У нее очень много дела; конечно, жалованья не получает. Да и у всего коллектива дела по горло: групповые занятия, доклады, спектакли.

Чтение мое слушали очень внимательно. Мелкоту предварительно вытурили вон. Даже женщину с грудным младенцем, который заверещал среди чтения, вывели за рукав в сени. Мой спутник, этнограф М. Д. Сигорский, сделал сообщение об археологии края.

* * *

На другой день похороны солдатки я проспал, несмотря на то, что тысячепудовый колокол, который слышно в Костроме, бухал над самым моим ухом.

Дело в том, что я имел неосторожность поверить гостеприимному хозяину, что клопов в этой чистой горнице — ни-ни.

На самом же деле полчища клопов и блох неимоверно сосали меня до самого рассвета. Персидский порошок, которым я осыпал постель и всего себя, только пуще озлобил их. В

войне с этим гнусом, в проклятиях хозяину, персам, изобретшим порошок, и деревенской чистоте прошла вся ночь. И лишь под утро, утолив своей кровью аппетиты паразитов, я мертвецки уснул, как после тяжелой контузии в голову.

— Оказия, — сказал хозяин. — А мы спим, не слышим. Привычка, значит... Тогда пожалуйста уж к нам ночевать, на поветь, на сенце там.

Солнышко, зная, укрепилось в небе по-настоящему: коричневый кисель подергивался корочкой, возле стен смелые ноги протоптали тропинки. С камня на чурку, с полена на лапоть можно кое-как путешествовать по кирпичному селу. И я пошел.

Встречаюсь с крестьянином, завожу разговор.

Напротив, из нижнего этажа кирпичного дома высовывается старуха и зовет нас:

— Эй, миленькие, идите-ка, помяните покойницу!.. Кутьи отведайте, да лепешечек медовых. Товарищ городской, заходи, не бойся! Дядя Андрей, иди!

Мы переглянулись с Андреем.

— Пойдемте, — тихо сказал Андрей. — Вам интересно будет. Старуха святоша, страшная богомолица, праведницей себя почитает...

В три львиных прыжка перескочили через грязь и вошли в темную сырую комнату. В углу, под образами, сидела на лавке чистенькая, пожилая, лет пятидесяти, женщина. Она маленького роста, как-то вся усохла, но живая и звонкоголосая. На табуретке у окна огромный мужчина, хозяин, чинит хомут. Он богатырски сложен — на широкой груди можно дробить камни, — корявый, волос на голове не густо, на щекастом лице маленькая татарская борода.

Пока старуха угощает нас и, поминутно крестясь, рассказывает о несчастьи с солдаткой, хозяин сыплет прибаутки, густо хохочет, незлобно подшучивая над набожностью жены. У хозяйки то слезы в глазах и в голосе, то вдруг и сама прыснет смехом и замахнет на хозяина рукой:

— Ой, да и молчи ты, греховодник!

Молчу, молчу, — гудит хозяин. — Ну-ка, от писания чего-нибудь пусти...

Ах ты, старый дурак!.. Да-к неужто, думаешь, глупые люди божественные-то книги составили...

Старуха плачевным голосом рассказывает:

А детьми-то нас бог не благословил... Его святая воля... А достаток-то есть у нас. Вот мы и взяли в голодный год мальчика к себе... Шел, бедняга, с Волги в Тверскую губернию за хлебцем, дитё малое, черемисин. Мы его, по наущению божию, и взяли. Живи, мол... И как сынка родного любила его... Два года жил, сиротил... а потом домой запросился. Отпустили, с господом, всем наградили его, иди... Я плачу, и он плачет, в ногах валяется... «Спасибо, мамка. Спасибо, мамка»... Как же, как же, помогаем бедным... Отказу нет. Я, грешница, и к церкви прилежна. Эвота теперича как народ-то весь от бога отступился, а я, грешница, все преклоняюсь пред господом, все преклоняюсь, буди его святая воля...

Преклоняйся, преклоняйся, — трунит хозяин. — Больно-то надо ему, чтоб ты на карачках пред ним ползала... Почище тебя есть.

Да чего ж вы на покос-то не собираетесь?!.. — закричала старуха. — Где же Аграфена-то?..

А здесь-ка! — И с улицы весело вошла рослая, красивая девица. — Хозяин, пойдем...

Хозяин масляно взглянул на нее через плечо, мигнул, хихикнул, дратва лопнула, и хомут полетел под лавку.

А еду собрала? — спросил он. — На целую неделю ведь... Ах ты, гладкая... — Встал, схватил ее за крутые плечи, повернул, играючи, и ударил по спине. — Тащи мешок!..

Это куда же, на покос, в палатки? — спросил я.

Туда, в балаганы, — радостно протянул хозяин и пошел следом за девицей.

Да ты, слышь, не обижай девку-то... Ведь ты старик... В отцы ей годишься, — наставляла старуха.

Обидишь ее, как же!.. — откуда-то прохрипел хозяин, и тотчас же послышался игривый визг Груняши:

Ой, мамынька!.. Не чикочи!..

Тьфу! — плюнула старуха и перекрестилась.

Она в работницах у вас?

В работницах. Из Ярославской губернии. Семейство у них большое, а земли мало. С той стороны много девок в батрачках у нас живет... Лето проработают, а осенью домой.

Топая голыми крепкими ногами и оглядываясь, вбежала, с пустым мешком Груняха. За ней хозяин. Тугой живот его подвязан кожаным поясом, у пояса болтаются два больших ключа. Груняха стала бросать в мешок хлеб и калачи.

Чаю положь, сахару, — приказывал хозяин.

Сколько, Груня, получаешь? — спросил я.

Да уж получит! — перебил хозяин. — Наряды будут и все такое... Ленты, серьги... Эх ты, малина-ягода!..

Хозяин снял с перекладины две косы, сунул в мешок стальную бабку, косы бить, молоток, брусок точильный и сказал:

Прощай, старуха. Только ты меня и видела...

Перекрести рожу-то!..

Благословляй, хозяйка... — и Груняха, подрагивая и вся трепыхаясь, вышла вон.

Старуха, проводив их глазами, сказала:

— Ведь это он так, шутит... Вы не подумайте чего... Он смирный, дай бог... А вот пойдёте -ка ко мне на верх, полюбуйтесь на картиночки мои.

По внутренней скрипучей лестнице поднимаемся в светлый верхний этаж.

Все стены огромной, в шесть окон, комнаты с потолка до полу облеплены религиозных мотивов лубками, портретами царей, генералов, архиереев, много портретов Иоанна Кронштадтского, олеографии русского флота и т. д. И масса икон.

У тебя как в соборе каком, — сказал дядя Андрей.

Да, да... Люблю благолепие, грешница. Приду сюда, да помолюсь, да полюбуюсь... А посторонних никого не пускаю...

Смотри, дознаются, влетит тебе. Хоть Николая-то царя сорвала бы.

Старуха перекрестилась и сказала:

— Был, был одни товарищ-коммунист, комиссар... Попросился кочевать, я и говорю: «Вот, говорю, батюшка товарищ, есть у меня комната, только ты меня не брани. Я тебе постельку постелю там». Ну, посмотрел, говорит: «Надо бы убрать, старушка, царей-то. Боги пускай висят, а царей долой». Я говорю: «Да ведь, батюшка ты мой родной, ведь они наклеены к обоям: ежели соскабливать, комнату испохабишь. А наклеивала я их для благолепия, худа они мне не делали, а все-таки цари считались. И откуда мне было, темному чело веку, знать, что Николай-то до расстрела доведет себя. Пес с ним, пускай висит». Ну, комиссар только улыбнулся и ничего не сказал мне. И никакого мне притеснения не было, дай бог им здоровья. Нет, чего напрасно говорить, допустим, они и неверы, а с понятием. А теперь, батюшки, давайте я вам все картинки обскажу: и про страшный суд, и про судьбу человека, и про Марию Египетскую, про все, про все...

У старухи зарумянилось лицо, глаза загорелись; она стала нас водить вдоль стен, как экскурсантов по картинной галерее. Пред портретом Николая II она вздохнула, перекрестилась и трогательно сказала:

— Эх, дурак, дурак, царство тебе небесное.

Обратной дорогой мы обменивались с Андреем впечатлениями.

— Старуха ничего, не вредная, — говорит он. — Вот и черемисенка мальчонку от смерти спасла. Лопотать по-нашему плохо знал, а в школу ходил, старуха велела. А насчет божества сама обучала его.

Мне ясно представляется этот тщедушный ребенок, босой, оборванный, покрытый струпьями, вшами. Я знаю, не быть бы ребенку в живых, если б не материнская помощь старухи, и не ломтем хлеба, не малой подачкой, а всей женской любящей душой. И надо еще учесть большого значения психологический момент: ведь старуха-то из русских русская, а мальчонка в ее глазах «поганая татарва». А потом стремление к картинкам — тоже вещь не заурядная; тут не одна религиозность, а нечто и другое, какая-то высокой марки эстетическая потребность.

И мне хочется этой старухе низко поклониться. Пусть не подумает читатель, что я нахваливаю старуху потому, что она меня вкусно угостила: нет, кутьи я не ел, не соблазнился и медовыми лепешками.

III. ДЕРЕВНЯ ОВСЯНКИНА

Ванька — В науку — Омоложение деревни Смычка — Боязливые бабы —

«А у меня вырывают» — Заволжские старцы — Мужиковское искусство С балкона —
Евгеника — Бывшая аристократка

Из Мискова я пошагал дальше. Белоголовый карапуз, раскачиваясь на качели, картаво запел мне вслед:

Ах, дяденька с котомочкой,

Идешь-то ты куда ?

Не встретишь ли миленочку —

Покличь ее сюда!..

Дорога, миновав богатую староверческую деревню Жарки, бежала лугами, перебросилась мостом через реку Кострому и направилась вдоль ее течения. На крутом чистом берегу за рекою белели многочисленные палатки, выстроившись в ряд, как холщевая деревня. Это дальние крестьяне выбрались недели на две косить луга. Трудовой день ушел, был тихий вечерний час. Клубились сизые кивера дымков — табор готовил ужин. По откосу спускался к воде голый мальчишка; он вел на водопой лошадь. Женщины деловито сновали от костров к палаткам. Где-то лениво пиликала гармошка. Вот поужинают, и она пошире разинет свой голосистый рот. Девыцы сбрасывали с себя одежду и с визгом бросались в воду. Вода пенилась и бурлила под их русалочьей игрой. Звонкие девичьи голоса и хохот неслись табунами к задремавшим под зарей лесам.

Еще версты две-три, и дорога спускается к реке. За рекой, на желтом заревом небе темным силуэтом мрачно отпечаталось село Исады. Зыбь реки в потухающих мягких блестках.

— Эй, лодку давай! громко кричит мой попутчик, кудластый мужичок.

Меж крутоярых берегов перебрасывается эхо. И чуть помедля — звонкий детский голосок из-за реки:

А деньги есть?

Давай, давай!.. Получишь... Припасли для тебя... Как же...

Я вглядываюсь в вечерний сумрак. За рекой парнишка в белой рубаше.

— Много вас, жуликов, шляется! — кричит он. — Проваливай...

И еще голос, потолще:

— Не ездей, не ездей, Ванька!.. Надуют...

— Давай, давай! — кричим мы оба. — Нам на пароход!..

Мальчишка хохочет и отвечает:

— Плывите так! Тут не глыбко... А деньги есть? По пятаку с бороды...

Есть...

А ну, покажь!..

Не ездей, Ванька, врут!..

Но Ванька смиловался, весла его скрипят как коростель в болоте и плещут по воде. Подплыл.

— Давай деньги вперед, — заявляет он.

А взад не хочешь? — и дядя проворно впрыгнул в лодку и вырвал у Ваньки весло. Мы заскользили поперек реки. Щупленький Ванька хотел заплакать, не вышло, засверкал глазами и угрозился:

Жулики! Я вас, жулики, на середке утоплю...

Я те утоплю, косомол проклятый, — поддавал веслами мужик..

Мальчишка, как кошка, фыркнул и сгреб мужика за шиворот.

— Ты лаяться?!.. А в исполком хошь?!.. Не сиживал в чижовке?! Чтобы пиянеров материть... А?!..

С берега же сквозь озорство и хохоток летело:

— Ванька, топи их!.. Чего глядишь...

Лодка пристала к берегу. Я дал Ваньке двугривенный, и мы расстались друзьями.

— Спасибо, дяденька... Дай бог здоровья, дяденька... Видишь, огонек мигает? Шагай прямо. Там и пристань...

— Вот мы и в Ярославской губернии очутились, — сказал мужик. — Были в Костромской, а здесь Ярославская углом приткнулась. До свиданья! Счастливый путь.

Пароход пронес нас ночью вверх по Костроме-реке. Ранним утром, когда косцы возвращались на обед — иные уходят на покос с полночи, — мы высадились в деревне Овсянкине, Буйского уезда.

* * *

Овсянкина стоит на крутояром правом берегу. Высокий глинистый берег весь в ключах, мокр и вязок. Деревня выходит к реке огородами. Минуешь огороды, на два посада широкая, вся в зеленых палисадниках, улица.

Остановились мы у небогатого, но работающего крестьянина. У него одна лошадь, две коровы, три овцы и куры с выводком цыплят. А из людей — жена и три сына: старший, Александр, готовится к приемному экзамену в Ленинградский Географический Институт, средний — учится в школе второй ступени в городе Буге, третий — маленький озорник.

Мой новый хозяин — Федор Константинович Смирнов, — небольшого роста, с светлой бородкой, бел лицом, вдумчив и резонен. Он — незаурядный тип, в высшей степени обществен по натуре; он горюет о русских неудачах как о своей беде и радуется каждому светлому явлению в новом быту как празднику. Он понимает, что сила мужика в знании. Немного грамотен сам, он, надрываясь, тащит двух сыновей своих в люди. Одного провел через среднюю школу, другого проводит (в г. Буге, в двадцати пяти верстах от Овсянкиной). Сколько раз в зиму, лет пять подряд, он отвозил туда продукты, не доедая сам с семьей, и какого напряжения потребует от него старший сын, определяющийся в Ленинградский Вуз. Я уверен, что он продаст все, может, будет сам сидеть на сухарях с водой, но своего добьется — детям даст образование, пустит их по «культурному цеху». В этом поддерживает хозяина и его жена, простодушная, боязливая тетюшка Дарья. Александру тоже не легко. Он недавно был в Костроме, наводил разные справки по учебной части. Третьего дня смахал пешком в Буй, чтоб телеграфироваться с Ленинградом насчет дня экзаменов, а сегодня — и до самой осени — будет разрываться между книгами и полевой работой. Когда все спят — лампа в его комнатке горит до поздней ночи.

Я прожил у них неделю. Изба небольшая, старая, но чистая. Рядом подведен под драчичную крышу, но еще не достроен крепкий пятистенный дом с мезонином и угловым балконом вроде террасы.

И когда это вы успеваете, как это хватает у вас рук? — удивляюсь я.

Плотники делали. В нашем краю плотник недорогой, поголовно плотничают. Ну и сам старался. Я раньше-то на судах по Волге хаживал, все лишнюю копейку какую добывал... Вот и... Ведь три парня у меня растут...

Из сорока девяти домов в Овсянке — десять новых, «с пяты», и двенадцать перестроенных; да еще кой у кого на задах стоят новые срубы. Я ездил за последние три — четыре года по Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской и Костромской губерниям. Везде одно и то же. Крестьяне во время революции нарубили себе «под шумок» изрядное количество барского и казенного лесу, и по всем деревням — где не ленился топор, и не дремала воля — зажелтели, расцвелились новые просторные дома. Без преувеличения можно сказать, что революция значительно омолодила в лесных губерниях деревянную мужичью Русь.

И еще типичная для нашего времени особенность: сижу пасмурным днем на балконе, пишу. Но не пишется. А писать надо. Ужасно хочется лениться, забросить бумагу, книги, итти в лес, в поля. Или просто хочется, сидя на балконе, вертеть головой туда-сюда, следить за полетом птиц, за пеньем петуха, за чушкой, которая блаженно хрюкает в грязи, за вечно пьяным, но великолепным маляром Сусей, которого так прозвали потому, что он к каждой фразе прибавляет: «Сусанин сказал», — идет, кричит, кожаный картуз на левом ухе.

Вдруг... Вот тут-то и начинается новый быт. Вдруг по дороге пробегает крепыш-мальчонка. Он туго бьет пятками в дорогу, машет в проулок шапкой такому же карапузу и на бегу кричит:

На гигана, Панька, на гигана!..

За ним другой, и еще, и еще — и все, запыхавшись, орут:

— На гигана!.. на гигана!..

Опрометью несутся в другой край деревни, в гору, и на горе, вижу, — столб, гигантские шаги.

Дело очень просто. Вернулся с германской войны инвалид, подбил крестьян поставить ребятам на потеху столб, кузнец сковал железины, общество дало веревки, и машина закрутилась. Глядя на эту деревню — и другая, и третья.

Также во многих деревнях — футбол. Эту игру встречал я в разных губерниях. Она, как хорошая эпидемия, заразила всю Россию. Глядеть на такую игру — потеха. Ловкость, юмор, неуклюжесть, азарт, хохот, пыхтенье до десяти потов — все смешалось в кучу. Мячи из тряпок, обшитых бараньей кожей, и вместо тупоносых штиблет — бахилы. Иной раз двинет-двинет, и дырявый сапожище летит вместе с мячом в небеса. Играют в рубахах, а в больших селах в спортсменских костюмах с номерами, холщевых домодельных или купленных. Редко попадают парни в трусиках. Но с трусиками еще забавнее. В глухой костромской деревеньке мне рассказывали, как приехал домой из Питера парень фабричный и неожиданно явился в трусиках на сенокос. Мужики подняли хохот. А бабы озорную ругань, крик: «Голый, голый!» — и граблями прогнали его домой. Пришлось одеться.

Что же это вы так? — спрашиваю тетку.

Да ведь, батюшка ты мой, он, охальник, почитай нагишом пришел. Этакие гульки на нем, вершков пяти, на облезяну надевать... Едва-едва естество прикрыто... Тьфу!..

Но так или этак, естественные образцы «смычки» города с деревней налицо.

* * *

Выхожу за деревню. Колышутся ржанные нивы, голубеют васильки. Через версту — направо крупный сосняк, налево — тенистый запущенный парк с барским домом. Липовые и дубовые столетние аллеи поросли быльем. На пне стоит белая коза, трясет бородой, в тени два поросенка сосут свинью. Захожу в парк. Огромный, облицованный диким камнем, дом, построенный, говорят, по проекту Растрелли. Он внутри выгорел, кажется, в 1919 году, окон нет, на стенах черные следы копоти и дыма. Это имение Ивановское, бывшая собственность предводителя дворянства Мазнюкова. Через дорогу, возле сосновой рощи, три небольших здания. Это — принадлежавший тому же владельцу завод соснового экстракта и эфирного соснового масла. Завод основан незадолго до революции; он сулил большую прибыль владельцу, так как фабрикаты нашли широкое распространение по всей России. Рабочие, машинисты, мастера были местные крестьяне. После революции они завод взяли под себя, дело пошло великолепно, выработали фабrikатов четыреста пятьдесят пудов, но в годы военного коммунизма сбыт

прекратился, и дело рушилось. В данное же время, чтобы пустить производство в ход, необходим оборотный капитал.

— А дело верное, — говорят крестьяне. — Мы прямо могли бы обогатиться. Рабочие и мастера у нас свои, сосновой хвои сколько хочешь, и механизм в целости. В 1920 году ездили лично в Москву к председателю химотдела ВСНХ, ничего не вышло.

Мы с хозяином занимались подсчетом, оказалось, чистая прибыль, при повышенной оплате труда, около тридцати тысяч рублей за пять зимних месяцев (завод работает только зимой).

Огибаю парк и спускаюсь с крутого обрыва на луга. Вся деревня на покосе, ворошат сено, ставят стога. Этот покос — бывший барский. Помещичья земля отошла здесь исключительно крестьянам. Они поделили землю на полосы. Система хозяйства старая — трехполье. Новшеств не видно. На хутора не выделяются. Вообще в Костромском я Буйском уездах хуторское хозяйство не в моде.

Возвращаюсь домой. На улице, возле избы, стоит мой спутник, этнограф, зарисовывает красивые старинные наличники и крупно разговаривает со старухой, хозяйкой избы:

— Проходи, родимый, проходи... И без тебя тошно...

— Да я, бабушка, рисунок снимаю.

— Иди, иди!.. Чего ты окошки-то пишешь... Не вижу, что ли, я. Шляются тут, да описывают, А потом налог наложат. Вот иди к Андрею, тот богатый, срисовывай его окошки... Заплатит...

Едва успокоили ее.

Не сразу можно заслужить доверие крестьянина, особенно пугливы женщины. В каждом вопросе городского человека они видят какой-то подвох и заднюю мысль с неперенной целью ущемить их. Да вот хотя бы наша хозяйка, тетка Дарья. Можно выпрашивать про что угодно: про колдунов, про песни, про обычаи, но чуть дело коснулось вопросов, близких современности — сразу стоп. «Да пошто это тебе нужно знать, да чего ты все выпытываешь? Нет, ты, однако, коммунист. Ишь, ишь, опять в книжку пишешь»...

А верно, я имею обыкновение заносить в записную книжку образные выражения, оригинальную структуру живой фразы. Иной раз такое словечко вскочит в уши, — грех не записать.

Как-то сидим за чаем. Дарья чинит рубаху. Хозяин говорит:

Неправильного много еще у нас. Да вот такой пример...

А ты молчи! — перебивает его Дарья.

Вот я держу двух коров. А сосед — одну. Достатки у нас равные, и земли по одинаковому наделу. Я принужден двух коров кормить соломой, да и то сапоги или другую ценность продай. А сосед одну корову кормит сеном. Мои две коровы дают столько молока, сколько его одна. А налог я плачу за две коровы на семь пудов больше. Это против

совести и против закона. Я стараюсь схватиться за хозяйство обеими руками, у меня вырывают.

Полно-ко ты, полно! — кричит Дарья, перегрызая нитку. — Вот тебя пропишут, дурака, так будешь знать...

А что ж такое, — возражает хозяин. — Я даже сам хотел по этому поводу писать. Не засадят же меня в тюрьму за правду... Или вот еще такой пример...

Замолчишь ли ты, нет ли?! Вот схвачу за бороду да и выволоку в сенцы!..

Хозяин, взглянув на нее, разражается хохотом, мы все подхватываем, смеется и сама тетка Дарья.

— Слушай-ка, что я тебе скажу, — политично переводит она разговор на другие рельсы. — Вот у нас еще какой обычай живет: перед тем как в новую избу перебираться, накануне сажают туда на ночь двух хозяев: петуха да кошку. А когда жениха да невесту везут под венец, втыкают им в одежду две иголки-прорвы крест-накрест, чтобы колдун не спортил.

Она знает много интересных случаев из прошлой и современной жизни. Рассказывала нам про юродивого Вавилушку, бывшего типографского рабочего, который лет двадцать тому назад явился к ним и стал юродствовать: возил на себе пудов десять камней, носил под рубахой «железища», предсказывал кому смерть, кому замуж выйти, им предсказал два пожара. Он помер незадолго до революции.

А вот современный старец Асаф. Он — иеромонах Железоборского монастыря, верстах в двадцати от Овсянкиной, человек средних лет, высокий, болезненный и постник. За «поущением» ходили к нему главным образом девицы и молодые бабы (у мужчин он был не в почете). Одна девица, его поклонница, даже впала в летаргический сон, длившийся три недели, и начала изрекать пророчества. Поспит-поспит — проснется, изречет и опять уснет. Впоследствии обнаружилось, что девица притворялась; деятельность старца средних лет была признана вредной, и иеромонах Асаф, после суда над ним, оказался в Соловках.

Еще про матушку Веру, или просто Верушку, тоже нашу современницу, монахиню недалежного монастыря. Она пользовалась исключительным уважением среди всех местных крестьян и городского населения Буя и Галича. «А лицом-то она белая, а ростом невеличка, а глазыньки прямо как у орлицы у какой». Она неизвестно откуда пришла в монастырь, жила в шалаше, монашествовала лет пятнадцать и тоже стала пророчествовать. Зимой и летом ходила босиком, «в одной белой ряске, в белом апостольничке»; видимо, застудила ноги, и когда ее, арестованную, везли на пароходе в Кострому, она уже не могла ходить. Деятельность Верушки тоже была признана вредной, и монахиню выслали на юг, на родину. Отношение крестьян к ней, а отчасти и к старцу Асафу, свидетельствует о том, что мистическое настроение в деревенской Руси, главным образом среди баб и стариков, далеко не умерло, и что деревенская Русь, изверившись в священниках и наполовину отторгнувшись от церкви, ищет живой воды у старцев, стариц и юродивых.

Деревня настроена мистически, но уже и тут виден прогресс. Я как-то спросил тетку Дарью, — полна изба была гостей, — есть ли у них колдуны.

— Слава богу, теперича не стало, — сказала она. — А вот ведьмы есть.

Оказывается, ведьмы делают на Иванов день «зажинки» — идут ночью на голове, вверх ногами и выжинают вроде узенькой тропочки чрез все поле крест-накрест. Зерно берут к себе. И чья рожь попала к ней, зерно будет течь из крестьянских амбаров ведьме в закрома. Парни выходят ночью караулить — в третьем годе выходили. Ружья заряжают не свинцовой пулей, — она ведьму не берет, — а горохом или медью (пуговкой).

Комсомольцев в деревне, кажется, нет. Коммунистов тоже. Избы-читальни нет. Газеты не выписываются. «Хорошие дороги, а худых не стоит. Да и читать-то мы, по правде сказать, не приобыкли».

Спрашиваю хозяина:

Почему вы в партию не запишетесь?

Не справится, — ответил он. — Я на этот счет строг. Я и от попа требую, чтоб на деле показывал, как надо жить, а не на словах. Так и от коммуниста: раз проповедуешь равенство и братство, так и живи. Иначе один обман и распутство.

* * *

Иду вдоль деревни. Иду не спеша, останавливаясь почти пред каждой избой, чтобы полюбоваться кружевом наличников, украшающих оконные проемы. Это творчество плотников и маляров села Павловского и других деревень Буйского уезда.

Есть избы, или, вернее, просторные дома, изукрашенные пышной сквозной резьбой по карнизам, пилястрам, фронтонам, слуховым окнам и наличникам, с затейливыми «мизинетами» (мезонинами). Вся резьба в большинстве случаев раздраконена в яркие тона: красный, синий, зеленый, белый и желтый. В резном искусстве мы видим и своеобразно воспринятый кудрявый стиль «барокко», и стиль «Возрождения», с урнами, цветами и кедровыми шишками. Но кроме заимствованной орнаментации (вероятно, с помещичьих и столичных домов), весьма часто встречаются и чисто русские мотивы: кружевные подзоры, полотенца, балюстрады, петухи. Композиция рисунка и раскраска выдержаны очень искусно, с незаурядным художественным чутьем и вкусом. Не даром костромские плотники в свое время выписывались в Париж для участия в постройке павильонов Всемирной выставки, и их искусство расценивалось там в художественном отношении очень высоко.

Я прошел и проехал несколько костромских деревень и ни разу не встретил повторяющихся мотивов орнаментации. Едешь и с изумлением смотришь на мелькающую смену украшений, и иной раз не можешь оторваться. Буйская школа второй ступени предприняла летом двадцать третьего года экскурсию по деревням с целью зарисовки резных украшений. Не мешало бы и некоторым нашим художникам объехать Костромской край: жатва была бы обильной.

Вот там, за рекой, есть сопка. Она называется Сопливая горка. Знаете, почему? — спрашивает меня хозяин.

Почему?

А из села Павловского, верст пятнадцать отсюда, идут с первой недели Великого поста в Питер или в другие местности плотники, как раз мимо нашей деревни. Бабы провожают их. На горке прощаются. Бабы такие слезы распускают, страсть. Вот горка и названа

Сопливой. Очень любопытно смотреть со стороны, как они там воют да с мужьями лижутся. Вот уже совсем простились, пошли. «Да стой, да подожди-ка, что скажу!» И опять. Нацеловались на весь год, пошли. «Эй, Максим, соколик... Остановись-ка, слышь!..» — бежит какая-нибудь Агаха. Уж они шепчутся-шепчутся лоб в лоб, когда-то, когда-то разойдутся. А к Петрову дню, в конце июня, снова встречаются на этой самой горке.

А много на заработки-то уходят?

Много — что маляров, что плотников, столяров али штукатуров. Страсть сколько из губернии народу уходит. Потому земля у нас неудобная. И все больше в Питер. Редко-редко в Москву которые. По соседним губерниям тоже много уходят. Очень много из нашего края подрядчиков богатейших было. Такие домища себе сгрохали, в городе не скоро встретишь. Да вот поедете — увидите.

А теперь?

Да помаленьку начинается. Конечно, бывшие подрядчики у них за старосту. По бумаге староста, т.-е. старший из артели, а на самом деле такой же подрядчик. Он кормит артель и большие барыши себе берет.

Почему же артели сами не организуются?

Да не могут еще. Спецов нет. Организовалась такая артель, пошла в Вологду, едва-едва сыты были, домой ни с чем вернулись. А те, которые с подрядчиком отправились, все-таки денег принесли. Потому что у подрядчика во всех местах знакомства, старое доверие. Он может и хороший дом на выстройку взять, по любому плану построить. Он всему делу голова. А у артели без коновода — тят да ляп — плохо... Конечно, со временем, может быть, и поприобыкнут которые из мужиков. А я думаю так: ежели какой крестьянин будет в этом деле большой смысл иметь, обязательно в подрядчика обратится: уж такая природа наша человеческая.

* * *

Сижу на балконе с книгой. Но читать лень. Смотрю на пустынную улицу, не пройдет ли кто. Слышу пьяный голос. Узнаю: сейчас из переулочка покажется Суся. Так и есть. Лицо у него медное, подбородок бритый, с ямочкой, мокрые усы книзу.

— А во-о-от... Пойду-у!.. Так сказал Сусанин. Объясню без обиняков: эй, тетка Матрена, не надо мне твоих денег, не надо твоих харчов, а дай мне две бутылки самогону!.. Так сказал Сусанин... Видала памятник Сусанину в Костроме, а? Сняли Сусанина... А я тебе избу выкрашу, ай-люли... И потолок... Две ббутылки ссамогону!.. Не хочешь? К чорррту!.. Так сказал Сусанин...

Он размахивает руками, пишет по дороге вавилоны. Холщевая беспоясая блуза его вся в олифе и краске. Прошел.

Навстречу ему необычная женская фигура в полосатой голубой юбке, в рваной кацавейке. Голова накрыта низко опущенной на лицо шалью. Щека подвязана белым платком. Лицо видно плохо, но я все-таки вижу странные безумные черты, бегающие испуганные глазки и сильно приплюснутый неблагополучный нос. Следом за нею мальчишки и девчонки. Они дразнят ее на разные голоса:

— Барыня курнося!.. Барыня курнося!..

Вьются возле нее, дергают то за кацавейку, то за шаль. Она отмахивается, вырывается, что-то гнусит силным голосом. Из окна крик:

— Я вам, твари!.. Пошто ее обижают?!..

Ребятишки отстают, косясь на пригрозившего им крестьянина. Курнося барыня проходит. Гляжу вниз. У хозяйской избы клуша с многочисленным выводком крупных цыплят. Цыплята страшно дерутся: нос в нос налетают штуки по четыре, и начинается свалка. Из гребней ручьями течет кровь. Выбегает младший хозяйский сынишка, начинает разнимать, но это ему не удастся: цыплята сбегаются вновь и с необычайным остервенением долбят друг у друга окровавленные головы... Мальчик берет хворостину, хочет ударить по забиякам и вдруг заливается детским плачем:

— Мамынька, мамынька!.. Пестренькому петушку оба глаза выклевали...

На крик выскакивает мать, ахает, ругается, схватывает безглазого и ссекает ему топором голову.

«Горе слабому», — мелькает у меня скорбная мысль, но не хочется додумывать: день солнечный и знойный. Я равнодушно гляжу на переставшего трепыхать казненного цыпленка, на лужу крови, на топор в милостиво-жестокой руке тетки Дарьи, на ее вопросительно улыбнувшиеся мне глаза, и угадываю, что она хочет мне сказать. Она сказала:

— Вот сварю тебе суп. Желаеть?

Все так просто: топор, конец никому не нужной жизни, суп. Я хотел многое вспомнить, — но солнце, зной... Я вздохнул и отвернулся.

— Да!.. — вспомнила Дарья. — А чего ж ты к нашей барыне-то не сходишь?.. Сходи для интересу. Образованная. Не нашему брату чета. Сходи. А то скучно тебе. Ничего, она разговорчивая, обходительная. Мы с Федором другой раз ходим чай пить к ней. Она нашего Федора уважает.

— Какая барыня? Вот которая сейчас прошла, курнося?

— Нет, что ты!.. Прошла дальняя сродственница ее, больная, полоумная. А та другая...

Я продолжаю сидеть на балконе. Сижу долго, пока не закатилось солнце, пока пастух не прогнал коров. Вот запахло парным молоком. По тропинке, под моим балконом, идут вереницей девушки и бабы; в их руках ведра с молоком. На поверхности молока густо плавают мухи, как на весеннем снегу грачи.

Спускаюсь на улицу. Возле ближней избы подвода. На телеге огромные сосуды под молоко. На земле весы. Деревня сдает молоко на вес, приемщик записывает в книжки, которые подают ему женщины. Молоко идет на общественную маслодельню в соседнее село. Так несколько подвод ежедневно объезжают окрестные деревни.

Мимо меня обратно проходит группа девушек. Я заговариваю с ними. Они останавливаются, и одна из них, Надя, очень бойко начинает разговор. Ее голос певуч и

ласков; милое лицо, с голубыми, выразительными глазами, улыбочиво. Она вся не деревенская, от деревни только загар и крепость тела. Она безусловно городская, воспитанная девушка, переряженная крестьянкой. В непринужденной манере держать себя, в говоре и жестах прирожденная грациозность. Все подруги ее рядом с нею только резче подчеркивают непонятный контраст между ними. Нет, конечно же не здешняя.

— Покойной ночи! Всего вам хорошего, — сказала она на прощанье.

— А вы давно сюда приехали?! — крикнул ей вслед.

— Я? — Она засмеялась. — Восемнадцатый год пошел.

И только дома, за чайным столом, тетя Дарья разрешила мое недоумение.

— Надюшка-то? О!.. Совсем даже отменная от наших. А родные сестры ее такие же непропеки, как и прочие девушки. А она, видишь, какая пава родилась. Толкуют хрещеные, что быто она от барины нашего бывшего. А может, и врут, может, бог такой доченькой родителей благословил. Девушка речистая, умная, с ней лестно кому хошь поговорить. Да ежели ее одеть, у-у-у!.. — тетка Дарья даже зашурилась. — Одно слово, барское дитё.

Я все это отметил себе в книжечку и озаглавил: «Евгеника».

* * *

На следующий день я отправился с визитом к бывшей помещице Александре Павловне Перелешинной, разведенной жене предводителя дворянства Мазнюкова, **р** о котором я упоминал. Она снимала комнату в каменном двухэтажном крестьянском доме, через дом от нас. Я взобрался по лестнице и отворил дверь в ее комнату. Сырость, полумрак, запах мокриц и скипидара. На кровати лежит смуглая, сухая женщина. Голова ее обмотана полотенцем. Возле нее старуха-крестьянка.

— Вам кого? — заохав, спросила женщина. — Александру Павловну? Она на свежем воздухе. Идите через поветь, там ворота увидите. А за воротами веранда у нее.

Женщина болезненно улыбнулась и добавила:

— Я бы провела вас, да ноги отнялись — ревматизм замучил.

Не спускаясь вниз, я повернул в дверь направо, прошел через поветь по бревенчатому полу, представляющему потолок над обширным хлевом, и постучал в огромные ворота.

— Можно?

— Пожалуйста. Прошу вас.

Я отворил ворота и ступил на полусгнивший бревенчатый настил, подпертый на высоте второго этажа столбами. Эта горизонтальная, вроде террасы, площадка, огороженная полусгнившими же перилами, выходит на грязнейший, покрытый навозом задний двор, куда выливают помои и сваливают всякую дрянь.

— Извините, что здесь вас принимаю, — сказала Александра Павловна. — Хотя воздух здесь, как видите, и не совсем... Но все ж таки лучше, чем у меня в комнате. Садитесь на скамеечку. А я буду ходить... Мне моцион нужен.

— Но почему же вы не выходите на солнышко, в поле, в лес?..

— И рада бы, да не могу. Ноги опухли, сердце больное и одышка. Видите, какая у меня комплекция. Спускаюсь вниз — и не подняться.

Она высокая и необычайно тучная, величественного вида старуха лет под шестьдесят пять, с дряблым, белым в красных жилках лицом. Гордо запрокинутая седая голова ее в темной кружевной наколке; на рыхлых плечах рваная кружевная накидка. Потертая, вдоль и поперек штопанная юбка и трепанные шлепанцы. Но эта ветошь была чиста и опрятна, как и сама старуха с выхоленными маленькими ручками и умными, пристально всматривающимися в вас глазами.

Она угадывает мою мысль, иронически улыбается и, встряхнув накидкой, говорит:

— Вот... весь мой гардероб. Больше ничего нет. Так легче будет умирать и... честнее. Меня судьба очень и очень потрепала. И я не ропщу. Я верю в карму, в возмездие. Каждый человек живет на земле так, как он заслужил в прошлом воплощении. Вы удивлены? Я — теософка. В чтении теософских книг мое утешение. Ну, как там у вас в Москве, в Питере? Как большевики? Я ж совершенно не читаю газет со времени переворота. Что ж, по-вашему, выйдет что-нибудь путное?

Я, как умею, отвечаю.

— Удивляюсь, — говорит она, пожимая плечами. — Ведь вы, я слышала, писатель? Вы коммунист, нет? Но разве не коммунисту можно теперь писать? Разве печатаются книжки? Да неужели?!

Я вынимаю из кармана свою книжку и подаю ей. Старуха разглядывает ее, как вытасченное со дна моря чудо-юдо, и говорит: «Удивляюсь», — и просит меня прочесть. Я читаю шутейный рассказ. Старуха смеется и весело говорит:

— Удивляюсь!.. Представьте, я даже не воображала, что при существующих условиях можно было что-либо искренно писать.

Она садится против меня на скамейку и задумывается. По выражению ее лица я вижу, что она роется в памяти, подводит какие-то итоги, и что в ее душе происходит борьба.

— Да, верно, — говорит она. — Представьте, ведь меня арестовывали в девятнадцатом году и отвозили в Буй. И представьте, — на пароходе, в первом классе, даже горничную разрешили взять. Ну, в городе, правда, было несколько тревожных минут: мы, арестованные, большинство женщин-помещиц, боялись, что будут расстреливать. Меня, по моему нездоровью, допрашивали первую я сразу же освободили. Мне сделалось дурно, а извозчиков не было, и, можете себе представить, два милицейских вели меня ночью под руки до самой квартиры. И следователь тоже очень вежлив был.

Она замолчала, посмотрела в сторону, где заходило солнце, пожала плечами и сама себе сказала:

— Удивляюсь...с

— На какие же средства вы существуете? — спрашиваю Александру Павловну.

— А ни на какие, — как бы подсмеиваясь над собой, через силу улыбается она. — Много вещей распродала, теперь почти ничего не осталось. Да и продать-то некому. Вот продаю большой текинский ковер, великолепного рисунка, прошу червонец, никто не дает, денег нет в деревне. А мне необходимо в конторут в город съездить.

Действительно, помню, в Мискове, в этом кирпичном полугородском селе, крестьянин недавно говорил:

— Теперича у нас самое «подошлое» время. То есть такое время подошло, ежели скажут: «Ребята, соберите три рубля, а то все село из пушек расшибем», — дак не то что трех рублей, полтины со всего села не собрать. Вот хмель снимем, тогда другое дело.

— А живу я своими трудами, — говорит Александра Павловна. — Шью девушкам разные изящные вещицы: то накидочку, то лифчик с бантиками, то косыночку свяжешь, А они мне продуктами — молоком, картошкой. Да мне, старухе, много ли и надо-то. Попьешь кофейку с хлебом — и сыта. Если бы я одна была — с пол-горя. А при мне женщина, бывшая моя горничная, не пожелала меня бросить, а теперь слегла, от сырой квартиры страшный ревматизм схватила. Не пожелаете ль заглянуть ко мне?

Я опять вошел в ту же самую комнату. Больная, бывшая горничная, все еще лежала и охала. Старуха провела меня за перегородку и усадила за письменный стол.

Облезлые стены, несмотря на лето, а сырых подтеках. В углу дымит раскоряка-буржуйка, на ней синий чайник. Потолок, стены, драпировки, жалкие остатки мягкой мебели — все потемнело от многолетней копоти, и воздух — как в склепе.

— Я удивляюсь, как здесь можно существовать, — на этот раз пожимаю плечами и я. — Почему вы не переберетесь в другое помещение, почему не откроете окна?

— Нельзя. Сквозняки. А у меня — больная. Впрочем, будьте добры, откройте. Еще летом туда-сюда, а зимой — мороз, иней на стенах. Боюсь зимы, — она вся сжалась в кресле, и глаза ее зябко помутнели. — Боюсь.

Но вдруг она оживилась.

— А хотите взглянуть, какой я была? — и подала с этажерки свой портрет.

На портрете полная, очень красивая средних лет дама в русском костюме придворной фрейлины, с шитым жемчугом кокошником и «кавалерственной лентой» через плечо.

— Ну, как? Ничего себе бабенка? При Марии Федоровне состояла. А мой отец, адмирал Перелешин, царскими яхтами командовал. На похоронах государь был и вся петербургская знать. А я вот, видите, в каком положении, — вздохнула и утерла платком часто замигавшие глаза. — Пустяки, хорошо, превосходно, — быстро оправилась она. — Только веры не надо терять. Вот моя вера и надежда, — и старческая пухлая кисть руки легла на стопку теософских брошюр и книг. — Еще наслаждаюсь Байроном, Гете, Гейне, — в подлинниках, конечно. А вслух горничной, приятельнице моей, читаю, — знаете кого? — Блаватскую. Ах, какой восторг! А вы знаете, что Блаватская вновь воплотилась, и

ей уже десять лет от роду. Мне писала одна приятельница из Петербурга со слов «посвященной».

В это время за перегородкой скрипнула дверь, и послышался разговор. Потом надтреснутый голос прокричал:

— Барыня, кузина к тебе пришла!

— Ах, извините, — грузно, с кряхтением поднялась Александра Павловна. — Это дальняя родственница моя, больная. Капли пускаю ей в глаза... Мне очень совестно, что я не предложила вам чаю... но, к сожалению, я забыла сахару купить... Такая досада... Ну, навещайте меня, старуху...у

Я раскланялся и пошел домой. За перегородкой, возле кровати горничной, стояла «курносая барыня». Завидя меня, она тотчас же надвинула на лицо шаль и отвернулась.у

* * *

В конце июля ненастье сменилось ведрыными днями. Вечером пошел в бывшее имение Уланова, что возле деревни Овсянкиной; возвращаясь, неосторожно перепрыгнул через глубокий овраг и сильно повредил правую ногу. Пришлось отказаться от дальнейших путешествий. Тем не менее, я около двух недель провел после этого среди крестьянской Руси, переезжая из деревни в деревню, в направлении к г. Бую.

Я с грустью думал, что моим наблюдениям конец, но оказалось, что и лежа на сеновале можно наблюдать деревенский быт.

IV. СЕЛО ПАВЛОВСКОЕ

Мельничные черти — Семейство сельского священника — Воспоминания отца Ивана о Е.И. Якушкине Самогон — Поповичи — Строгая власть

Вез нас на плохонькой лошадке хозяйский сын, Александр, о котором я упоминал. Переправились на пароме через реку Кострому. Большая часть дороги проходит лесами. Александр таинственно рассказывает разные легенды о колдунах, о заклятых кладах, и я совершенно не мог понять, верит он в чертовщину или нет.

Вот с высокого лесистого обрыва видна речка, вся в кустах, густых зарослях леса. На речке водяная мельница. Речка сверкает на солнце, но омута ее черны, как ночь. Лес задумчив, мрачен, лесная даль кутается в дымку прогретого воздуха. Тишина, только шумит седым стеклянным шумом падающая через плотину лохматая вода. Здесь ночью, должно быть, жутко, ночью кричит здесь филин, рывкает медведь, может быть, русалки, покидая омут, выходят греться в лунном свете. И, без сомнения, на мельнице водятся черти. Что им новый режим? Они своему богу веруют, тем более, что мельник допотопный, свой, дядя Феофан. Ах, интересно иной раз послушать побаски ямщика, хотя бы и будущего студента.

А дело было так. В голодное время, оказывается, и черти голодали. Но черти — народ хитрый, насквозь в аду прожженный всякими предрассудками. И вот, как мельница на

ночь остановится, оголодавшие черти, не спросясь мельника, тайно на себя муку мололи. Настригут, через ведьм, на полосах колосиков и мелют. Проснется мельник, услышит шум, пойдет на мельницу. А там нет никого, все тихо, точно на погосте. А как домой — и пошла, и пошла мельница рвать: вода бежит, колесья крутятся, жернова зерно жуют, вся нечистая сила в работу запряглась. Сражался-сражался с ними мельник — ни черта не выходит, обратился к батюшке, к священнику. Отслужили вдвоем на мельнице молебен. В каждый постав, в каждый закоулок, в каждую дыру ставил мельник святой образ, а батюшка кропил.

Эту ночь черти не мололи, эту ночь мельник угощал батюшку винцом... И такое случилось, что батюшка очнулся дома, на кровати, а левый сапог с ноги потерял неизвестно где. Даже неизвестно, какой силой дома очутился. А крест и кропило ему доставили впоследствии.

— Это, наверно, проделки чертенят, — заключил рассказчик.

Эх, хорош денек, в небе сине, хвои духмяный запах издают, только нога болит, — пожалуйста, Александр, потише!

Подъезжаем к селу Павловскому. Грязно, но не так, как в Мискове. В пруду гогочут гуси. Беспортошный мальчик норовит попасть в лягушку кирпичом.

— Да, придется к батюшке, к отцу Ивану.

БОЛЬШОЙ серый старый дом. Сад, яблони. Калитка заперта. Оказывается — все на сенокосе. Так бы нам и стоять тут, если б не дождевое облако. Накатилось откуда-то из-за лесов и опрокинулось теплым ливнем. Ударил гром. Все посерело, помутнело, все окунулось, как в озеро, в густую сеть крупного дождя. Куры мчались лѐтом под навесы; резали мокрый воздух застигнутые врасплох стрижи; недобитая лягушка нырнула в пруд; мальчонка голосисто заплакал и уселся голым задом в лужу; радуга выпустила из тучи разноцветный эфирный хобот, опрокинулась за село, в поля.

Все семейство батюшки прибежало на рысях. Сначала с подоткнутым подолом попадья, похожая на обыкновенную деревенскую тетку, за ней две поповны и два поповича, крупные, сильные девы с молодцами, за ними сам о. Иван, высокий, чуть согнувшийся, с крепкими заgreбистыми руками, с простым крестьянским лицом, с простыми манерами, одетый в холщевый подрясник и холщевые штаны, босой, — словом, самый типичный мужичий старый поп.

После расспросов, оханья по поводу моей ноги, принялись за чай.

— Ты бы сходил, поп, за медком, — сказала матушка.

— Нешто не знаешь, что в дождь нельзя мед подрезать?.. Вот ужо солнышко... — ответил о. Иван.

Он очень неразговорчивый, тихий, слова надо тащить из него клещами, может быть, опять напугала его моя кожаная куртка. Однако, вечером он получил дар речи и кой-что порассказал о своей жизни.

Он всю жизнь провел в больших трудах, в нужде, семью поднял. Вот сыновья кончили семинарию, по духовной части идти не желают, а продолжать ученье нет возможности —

поповских детей не принимают. Как быть — просто неизвестно. Одному сыну уже двадцать три года, работают на земле, как крестьяне, а толку нет — земли совсем немного. Да вот две невесты. А доходы от церкви — ничтожные.

— Летом не больше пяти рублей на месяц выколачиваю, зимой до десяти рублей. Вот видите, в каком рванье ходим, и переодеться не во что.

А сам он на подозрении.

— Почему?

— Да видите, когда ценности отбирали, я в опись забыл сосуд серебряный включить, ну просто совсем из головы вылетело. Был суд, условно осудили.

Священником он недавно, сначала много лет был дьячком, потом дьяконом. Служил раньше в Ярославской губернии.

— Вот, может быть, вам интересно будет про Евгения Ивановича Якушкина послушать. Я с ним был хорошо знаком, он сын известного декабриста. Чудак был барин и души добрейшей. Тоже все записывал народные песни, приметы, поверья. Как-то, еще при крепостном праве, созвал всех крестьян, указывает на свой дом, спрашивает: «Кто этот дом строил?» Крестьяне отвечают: «Да еще при родителе твоём, царство ему небесное, строили эти палаты. Ты еще мальчик в ту пору, барии, был». — «Я не про то. Нет, чьими руками?» — «Нашими». — «Значит, он ваш, берите в общество. И лес берите. Лес сам вырос. И землю — земля ничья. Я здесь больше не хозяин, больше не приду сюда». Надел сюртук, шляпу и ушел. Вот в таком виде рассказывал мне сам Евгений Иванович и крестьяне-старик. Его потом арестовали и выслали в Сибирь. Там он жил с семьей в великой бедности, бумаги с карандашом не на что было купить, учил ребят своих, писали пальцем на песке. (Насколько известно, Е. И. Якушкин ездил в 1850 году в командировку в Сибирь, где виделся, в г. Ялуторовске, со своим отцом и познакомился со многими декабристами).

Отбыв наказание, — повествует о. Иван, — приехал в Ярославль, был управляющим Государственным Имуществом, женился на помещице из села Мариинского, возле Нерехты. Жене сорок пять лет, ему больше шестидесяти. Там и жил, в Мариинском. Часто приглашал меня, расспрашивал про жизнь, про старину, записывал. Каждый год, в день освобождения им крестьян, трое выборных приезжали к нему с родины, с пирогом. Пьянствовали целую неделю. Как-то сижу у них, жена его, барыня-то, и говорит: «Иди, пришли твои». Глядим — выборные, и пирог несут. Ну, и я погулял с ними. А теперь уже лет тридцать как капли в рот не беру.

— Почему?

— Силу надорвал, сердце стало слабое, какая-то жила от натуги лопнула. Эвота я какой конь, раньше пудов пятнадцать принести для меня пустяк. Работал как-то в поле на покосе, сено сушил, дьячком тогда был, вдруг туча зашла, а знакомый крестьянин и говорит: «А ну-ка, помоги-ка мне, свет, сенцо убрать». Я ему и начал целыми копами в стог бросать. А сено сырое, тяжелое. Как кинул на самую верхушку, у меня что-то и хряснуло в нутрах. С тех пор не пью.

Разговор перешел на самогон. В разговор ввязалась матушка:

— Самогон у нас варили почитай все, — начала она. — Потому, земля «неродимая», хлеба мало, нечем жить. А из пуда зерна он, чрез самогон, приобретет четыре пуда хлеба. Сначала варили в овинах, потом в подпольях, — запретили, — постановили на сходе, во избежание пожаров и неприятностей с властями, варить в оврагах, в лесу. Потому, ежели в овине, вдруг начальство придет, хоть ночью, хоть днем, сразу всем известно: бегут, перепрытывают. А ежели в лесу, то и не найдешь. Даже один священник попался. Его арестовали, а на летнее рабочее время выпустили. Тогда к нему стали православные обращаться с требами, он стал служить, его опять отправили в тюрьму. На свадьбу или на праздник иногда наготовляют четыре-пять ведер. Батюшки спились. Кто от горя, кто от слабости. Раньше вино в деревнях было за редкость, только в большие праздники. Теперь завсегда вино.

Матушка вздохнула, улыбнулась и, посоветовавшись глазами с о. Иваном, продолжала:

— В одном селе церковный староста собрал сход и убедил крестьян постановить, чтобы самогону в церковный праздник не было, а то страшные драки, даже поножовщина и всяческий соблазн. Крестьяне сначала побрюзжали, а потом решили праздник справлять в трезвом положении. А поп узнал и заявил: «Ну, так я в ихнее село и с образами не пойду».

Все немножко посмеялись. Батюшка перекрестился и сказал:

— Соблазн, соблазн.

Старший попович, придвинув к самовару чашку, попросил:

— А ну, мамаша, еще, седьмую! Или вот не угодно ли такой факт, — обратился он ко мне. — В одном селе, — не буду указывать в каком, — где крестьяне специально самогоном промышляли, за молебны со священником расплачивались вместо денег тоже самогоном. Идет священник по избам с иконами — а всего девять икон, десятый крест — и ежели помолебствует пред иконой в отдельности, за каждую икону чашка самогонки. Причт на этот случай бочонок таскал с собой. Но сам священник не пил. Вот вам. И как же тут может удержаться религия? И правильно нашего брата, духовных, продергивают в «Безбожнике».

— Вы разве «Безбожник» читаете?

— А как же! И домой иной раз приношу из избы-читальни. Я ж заведу избой. Сначала мужики ругались, отплевывались, а теперь сами просят: «А ну-ка, Петр Иванович, почитай на счет попов». Да вот, пожалуйста, — он шагнул к шкафу и подал мне журнал и три номера газеты «Безбожник». — Мамаша, конечно, не выносит, а мы, молодежь, читаем.

— Папа тоже читает, — подмигнула отцу девушка.

— Когда? Чего врешь! — ошетинился о. Иван.

— Читаешь, читаешь! — весело закричала девушка. — А помнишь, третьего дня я вошла, а ты что под скатерть-то сунул? Ведь ты «Безбожника» читал.

— Ничего подобного...

— А что же?

— Житие Якова, железноборского чудотворца.

Девушка быстро подошла к круглому столу у зеркала и торжественно отдернула скатерть, но там оказалось пустое место.

— Спрятал, папка, спрятал! — захохотали дети. — Мы еще вчера видели, все маме собирались показать.

— Ничего подобного! — бия себя в грудь кулаками, петушился о. Иван. — Чтоб я стал читать ваш мерзопакостный журнальчик! — Но глаза его виновато прыгали от лица к лицу.

* * *

Вечером все мужское на селение сидело на террасе, выходящей в небольшой сад. Несколько пчелиных домиков пестрело сквозь зелень листвы, пчелы уже угомонились. За синим куполом церкви розовел закат, предвещая хорошую погоду. Женщины доили коров. Матушка крикнула:

— Поп Иван! Иди-ка, поддержи Буренку. Не стоит.

Молодежь жаловалась мне на свою судьбу. Смерть как хочется учиться, жить в городе, работать, а вот приходится хлюпаться в навозе. Почему это, почему такое гонение на них, лиц духовного звания, чем же они, на самом деле, виноваты, что родители их — попы? — сетовала молодежь.

Я сказал:

— В нашей Республике нет стремлений делить людей на козлов и овец, на родных детей и пасынков. Всякий, не эксплуатирующий чужой труд, есть кровный сын Республики. Этого требует справедливость, так оно впоследствии и будет. В данное же тяжелое время, когда Республика не успела еще укрепнуть материально, в первую голову приходится удовлетворять нужды рабочих и крестьян, потому что у нас рабоче-крестьянская Республика. Но это отнюдь не значит, что так будет продолжаться и далее. При первой же возможности предоставится широкое право всем и каждому учиться, где кто хочет и сколько хочет.

Я очень плохой политик, может быть, и в данном случае все перепутал, но молодцы моим ответом остались вполне довольны.

Еще раз повторяю, они простые, хорошие парни, вполне принявшие новый строй и помогающие крестьянам усваивать современные формы жизни. Один из них заведует, за небольшое жалованье, избой-читальней, и, по-видимому, дело это любит, вечерами, уставший, бежит туда, ведет с крестьянами беседы, устраивает публичные чтения, дает юридические советы, пишет письма. А когда свободно, оба молодца гуляют с деревенской молодежью, играют на гармошке, пляшут и, наверное, в большие праздники дерутся с парнями соседних деревень из-за красавиц. У младшего неотразимая страсть к ветеринарному искусству — он перелечил всех коров, лошадей, баранов, кошек по всем окрестным деревням — спит и видит, как бы в Ветеринарный Институт попасть.

— Много скотинок на тот свет отправили? — подшучиваю я.

— Что вы! Я даже операции делаю. Вот завтра буду у лошади соседа кожу от лопатки отдирать, присохла.

— Где же вы учились?

— Да самоучкой больше. Потом из книжек. На коровьих трупах. Частью у коновалов.

Только ты, ради бога, нашу корову не смей лечить, — заявляет пришедший о. Иван. — Прошу тебя. От твоих опытов наш Васька сдох, прекрасный кот был, рыжий и мастер мышей ловить.

* * *

Спал я на повети, на сене. Отец Иван тоже спал здесь. Он ложился поздно, вставал чуть зорька. Все еще спят, а он сидит, согнувшись, в розовой рубашке, холщевых штанах — огромный старик — мужичище, а не поп — и бьет на бабке косу. Молоток в уверенной руке четко бьет, звякает сталь косы, и нет возможности уснуть, а спать так хочется. Так бы и убил этого попа. А то часа в три утра, — еще куры на нашести, — начнет пилить, стругать, долбить проушины.

— Что вы, батюшка, делаете?

— Да вот улей надо... Я вам мешаю, кажется?

Тяжелая их жизнь. А едят не очень, так себе, больше чай да каша.

Ноге моей от лежания не легче, двигаюсь с большим трудом. Послал за докторшей, здесь хорошая больница. Докторша пощупала ногу, сказала:

— Растяжение сухожилия. Разрыв мускульных тканей с внутренним кровоизлиянием. Максимум покоя, минимум движения.

Очень жаль. Значит, путешествовать нельзя. Расспросил её о житье-бытье. Получает двадцать три рубля, а дела — выше головы. Раза два в неделю, и обязательно в ночное время, зовут куда-нибудь верст за десять - пятнадцать к роженице. Иногда приходится идти пешком. Удивительно. За священником всегда лошадь пришлют, за докторшей же изредка. И ничего, конечно, не заплатят. Иногда читает лекции по гигиене. Но тоже изредка. Я предложил ей за визит деньги. Она очень обиделась.

— Послушайте, но почему те? Ведь в городах берут.

— То в городах, — печально сказала она, вздохнув, и добавила: — Хочу в Галич переводиться, на родину. Тоска здесь.

Действительно, трудно существовать в деревне городскому человеку, да еще на такое жалованье. Подвиг.

Накануне отъезда, под вечерок, в дом священника пришел, громыхая сапогами, какой-то тщедушный, беспоясый, с козлиной бородкой крестьянин и ко мне крикливым начальственным тоном:

— Ты кто такой будешь?

— Человек.

— Понимаю. Документ!

— А вы кто такой?

— Председатель сельсовета.

Он гордо сел. Я подал документ — удостоверение от «Известий ВЦИК`а». Он долго всматривался в бумажку, как в Филькину грамоту, встал, подошел к окну, опять приник к бумажке, снял шапку, составил с окна герань.

— Вяче... слав. Это какое имя? Вы кто будете, русский подданный? А почему же такое имя непонятное? — От напряжения с его лица струился пот.

Я ответил, что меня еще маленького так называли, при крещении.

— Так, так, — сказал он. — По какому делу? Жизнь узнавать? В газетке продергивать? Приятно. Извольте документик ваш. Можете проживать с удовольствием. Ничего. До свиданья! Не извините, — подал руку и на цыпочках ушел.

V. СЕЛО ЖЕЛЕЗНЫЙ БОРОК

Железоборский монастырь — Трудовая артель — За чаем в келье Иноки — Брошенная — Костоправка бабка Фекла и ее семья — Ханжа — Чудотворная икона — На повети — Тетка Марья про правителей — Развод Домой

Вез меня рыжеватый щупленький мужичок. Он всю дорогу бестолково и гнусаво рассказывал мне про плотничьи артели, выходящие на заработки из села Павловского и других сел. Он сам тоже плотник. Сначала был первой руки, а как сила ослабла, стал плотником второй руки, это уж плохо, едва-едва прокормишься.

— Отчего же тебе сила изменила? Ведь ты не старый.

Плотник подстегнул лошаденку и сказал:

— Филитическую болезнь у меня признали. По наследству быдто перешла от родителей моих.

Оказывается, он женат, имеет двух детей, все здоровы. Не лечится, потому что некогда, а некогда потому, что беден, весь век в работе, в людях. Да задаром разве будут хорошо лечить, просто дадут мази какой ни то дешевой для отвода глаз. Это ни к чему. Притом же с «филитической» болезнью жить можно. Самое большее — «стропила» в носу рухнут. А так — ничего. Это не холера и не вошпа. Ничего.

* * *

А вот и прекрасное старинное село Железный Борок. На зеленых лугах древний исторический монастырь Якова Железноборского, основанный в конце XIV века. Здесь

останавливался митрополит Московский Алексей с посольством из Москвы к галицкому князю Дмитрию Шемяке. Здесь же был пострижен в иноки Григорий Отрепьев, Лжедмитрий I, будто бы сын боярина г. Галича (Костромской губернии) Богдана Отрепьева.

В древности — кажется, еще при царе Борисе — в окрестностях монастыря были открыты железные руды. Остатки самодельных незатейливых домн и ям, где добывалась руда, сохранились и по сей час.

Одна старуха рассказывала мне:

— Сам Наполеон зарился на наше место. Как узнал, что в нашем бору железо, залез на Ивана Великого, — такая колокольня в Москве есть, всем колокольням колокольня, — да навел трубку на нашу местность и стал рассматривать. А батюшка Яков преподобный наш, святитель христов, чудо из-под спуду совершил: вся местность лесом закрылась, и будто бы войска многие тысячи стоят. Наполеон испугался и не пошел на нас войной.

В монастыре — трудовая артель крестьян. Моя хозяйка, тетка Марья, рассказывала мне:

— Приехали из Буя в девятнадцатом году большевики, созвали монахов и сказали им: «Вы, отцы, должны образовать коммуну, то-есть колхоз, иначе всю землю от вас отберем. И чтоб в коммуне были безземельные крестьяне». Тогда настоятель монастырский обратился к нам, хозяевам, и еще к другим крестьянам, которые бедные: «Помогите, православные». Мы пошли с хозяином. Работали ровно год, с марта по март. А когда большевики стали монахов совсем выставлять из артели, мы с хозяином тоже ушли.

— А почему удалили монахов?

— А вишь ты, мало работают, а только молятся. Мы же не обижались, потому что монахи вкладывали деньги, которые выручали чрез богомолество. Хлеба и всего хватало. Только жить было по-первости не сладко.

— Почему?

— Народ не так был соединен, чтоб в одно сердце.

Около полудня. В соборе служба. Меня манит войти в древний собор. Вхожу, с трудом переставляя больную ногу. В соборе решительно никого, кроме пяти-шести монахов в меня со спутником. Монахи не служат, а катают на рысях. Мой спутник, М. Д. Сигорский, громахая по чугунным плитам сапогами, пошел осматривать собор. Вижу, как он берет и взвешивает на руке полупудовые вериги основателя монастыря Якова, щупает его скуфейку, идет на клирос и что-то шепчется с монахом, указывая на меня. Потом подходит ко мне:

— Идемте. Самоварчик будет.

Опережая нас, пробегает в прилепившееся к монастырской стене небольшое здание юный служка. Белые кудри его шлепают из-под скуфейки по ушам. Он трогательно мил, как Алеша Карамазов. У входа, сделав руку козырьком и всматриваясь в наши лица, стоит сгорбленный старичок с ласковыми голубыми глазами, напоминающий Серафима Саровского.

Входим. Кухня. Огромная печь. Монах средних лет, длинноволосый, в белых штанах и розовой рубашке, наводит в кухне порядок. А здоровая, краснощекая девица сидит под окном и шьет. Мы ее послали за молоком и яйцами. Улыбнулась как-то по-особому и ушла.

— Что ж она тут делает? — спросил я белоштанного инок.

— А она из артели. На нее другой раз вроде как находит. Вроде не в себе делается. Дома сидеть скучно, вот сюда заглядывает.

Проходим в жилое помещение. Сводчатый потолок и стены небольшой комнаты расписаны немудрым богомазом. Посредине из белых досок самодельный стол. Самовар пускает пары. По стенам шесть коек с грязными тюфяками. Возле коек — лапти, опорки, сапоги. В переднем углу, как водится, киот. У окна, между кроватями, в простенке, аналой: пожилой монах, спиной к нам, читает про себя божественную книгу. На стенах — клобуки, календарь, расписание службы.

Два паренька, в подрясниках, чистят грибы, третий, постарше, кривой, следит за красавцем в белой рубашке, не то парнем, не то оперным молодым боярином, как тот из свежерезанных прутьев плетет корзину. Этот молодец — ему двадцать пять лет — тоже послушник, сын богатого крестьянина из-под Чухломы. Высокий, статный блондин, лицом нежен, бел, румян, большие голубые, под тонкими черными бровями, глаза, белокурая молодая борода. Сколько женских сердец было бы раздавлено им до боли, до крови, до смерти, живи он «в миру»! Ему бы русским народным хором управлять где-нибудь в московском купеческом трактире, ему бы с гусями по Руси ходить, былины петь, русскую душу тешить, ему бы стопудовые кули таскать! А вот ушел от богатства, от красавицы-невесты — наверно, с горя на себя руки наложила, — ушел, чтобы замуровать себя заживо в камень, в трудный подвиг, в кольцо зеленых лесов, в колокольные звоны. И ушел недавно, в прошлом году. Что за притча?

— Что же вас заставило уйти? — завожу с ним речь.

— Влечение души. Потянуло.

Отвечает нехотя, чуя во мне инаковерующего любопытствующего человека, случайного, с ветру, прохожего. Он весь погружен в плетение корзины и жадно ловит каждое замечание кривого спеца.

— На продажу, что ли, плетете? — опять спрашиваю.

— Тем существуем.

Пришел молодой, со строгим бледным лицом, иеромонах Савва: служба, видимо, кончилась. Одет в чистую рясу. На груди наперсный крест. Садимся пить чай втроем: о. Савва, я и мой спутник. О. Савва заменяет теперь настоятеля, уехавшего в Кострому. Жить им трудно — их восемь человек — но все-таки кое-как можно существовать. Им дали немного земли, есть огород, рыбу ловят, есть корова. «Молочко, конечно, только к чаю».

Вся братия, в особенности о. Савва, религиозно настроены. Он кое-что читал, но, разумеется, в науку не верит. Наука от ума, ум же ежечасно заблуждается, а религия — от сердца, от нутра.

— Сам по себе мир не мог образоваться. Всякому делу есть хозяин. А как же? У природы отнимают повелителя?! — восклицает он и следит за лицами монахов. Монахи поощрительно кивают головами.

— Или говорят, что человек произошел от обезьяны. Вранье какое! Почему же от галки всегда родится галка, а не сорока? В мире дух зла противоборствует господу-творцу. Бог в нашей вере, а не в чьей-либо другой. Вот почему ни одна вера не испытывала в прежние времена такого гонения, как наша. Гонители — слуги дьявола. Вспомните Нерона.

Поставив точку богословским разговорам, о. Савва, вздохнув, сказал:

— Ужасно горько нам, монахам обители сей, что мы совершенно неправы, мы как бы вне государства, нас никто не признает, никто с нами не считается, и труд наш не труд, а якобы мракобесие. Обидно, знаете. Ведь и у нас душа. Тяжко в отечестве своем чувствовать себя последним хламом, отщепенцами. Ведь все мы на мужиков да из мастеровых, — мы из народа. Как бы хорошо было, если б нашу обитель древнюю обратили в государственный музей, а нас бы вроде хранителей. Жалованья нам не надо. Это нас окрылило бы, мы приобрели бы этим самым права гражданства.

И еще:

— Вот за эту келью с нас берут в год платы двадцать пудов ржи, да за колодец — восемь пудов. А недавно был из Буя представитель, сказал: «Теперь, пожалуй, двести пудиков с вас очистим».

— Где же вы берете хлеб? — любопытствовал мой спутник.

— А где ж нам брать? С крестьян. В праздник обходим с иконами деревни. Желающие принимают, не желающие отказываются. Дело любовное. В голодные годы мы в долг служили, осенью собирали хлебом.

В открытые окна заглядывали рябина и боярка. Становилось сумеречно. Пастух давно отдудил на дудке, и галки слетались с полей на ночлег в парк монастыря.

Сухой и очень подвижной монах, старец Амвросий, с лицом аскета, сказал мне:

— А позвольте вам предложить: в том конце села, за речкой, живет старушка полуслепая. Она вроде знахарки и может править повреждения суставов. Я насчет вашей ноги. Слетать?

Я очень обрадовался — вот, думаю, живую колдунью бог послал, — и охотно согласился. Старец схватил скуфейку и живо зашагал, как молодой. Не успели мы выкурить по папироске, как он вернулся:

— Бабка Фекла сейчас не видит. А просит вас к себе. Даже можете у них и остановиться. Их трое, детей нет, клопов нет. Эй, отроки, проводите странных людей!

Два паренька взяли наши котомки, и мы двинулись. В уголке, в проходе, толстая баба-мукоseyка месит хлебы. Тут же ее опрятная кровать.

* * *

В ограде монастыря встреча. Красивая, высокая молодая крестьянка, с нею трое маленьких ее детей.

— Здравствуйте, милая, — поздоровался я. — Ну, как живете?

— Плохо, — печально ответила она и потупилась. — Муж бросил. Вот и детишки.

— Таковую-то красивую?

— Видать, лучше нашлась. А жили мы сначала хорошо. Он коммунист, председателем в артели нашей был — я и теперь в артели, вот в том корпусе живу. А когда право перевернулось, стали худо жить. Он начал за девками здесь волочиться. Я не могла стерпеть, плакала, ругалась. Он бил меня. Потом развелись. Он уехал в Буй, там служит, кралю, говорят, нашел канцелярскую.

Отроки стояли в отдалении, недовольно покашиваясь на меня. Я покултырил дальше.

Речка, мельничная гать, и чрез грязь — изба. Керосиновая лампочка замутила тьму, но свету дала мало. Здравуюсь, приглядываюсь. За столом жена и муж. От печки семенит с горшком каши старушонка, Фекла Кирилловна. Маленькая, сутулая, сухая; желтое, морщинистое лицо в кулачок, глаза мокрые, красные; рот слюнявый. Словом, бабка особенной красотой не отличалась. Хотя я, признаться, внешность ведьмы представлял себе несколько иной, думал — ведьма нечто среднее между бабой-ягой и неумытиком, а это просто обыкновенная богова старушка, да она и не ведьма, не знахарка, а деревенская костоправка.

— Что у ты с ноженькой-то? — участливо спросила она.

— Кажись, жила под икрой оборвалась, — ответил я.

— Ох, батюшка! Если бы жила лопнувши была, единого разу ноженькой-то не вступил бы.

— Садитесь с нами поужинать, — крепким голосом пригласила хозяйка, Марья Михайловна. Этой бабище за сорок лет, она ядрена и здорова, как конь. В ней много пудов весу, идет по избе — гнутся плахи. Мужу ее тридцать восемь лет. Маленький, рыжий, голова острая, клином вверх. Из какой бы они ни были губернии, в Сибири назвали бы его «тоболяком», сказав: «Тебя Ермак дубиной по лбу крестил». Он шустрый, работяга.

После ужина хозяин составил вместе две скамейки под прямым углом к стене, бабка положила меня вниз лицом и приступила к лечению. Принесла теплой воды, мыла, кудели. Намылила мылом мою ногу, взяла в рот воды и, поливая на ногу, стала производить своеобразный массаж, мыча не то заговор, не то какую-то молитву.

— Желвак наболел, — сказала она, — жила сшевелилась.

И когда запустила крепкие пальцы под коленный сгиб и стала с силой давить и тискать, от страшной боли я весь облился потом и, чтоб не закричать, впился зубами в подушку. Ну, чортова старушка, вот так угостила!

А она:

— Вот уж завтра соченок тебе сделаю из глины да из муки. А сейчас вот куделькой обложу ноженьку-то, жар будет отнимать, — она намылила мокрую куделю и привязала к больному месту. — Ну, вот, вставай. Больно? Авось матушка-богородица поможет.

Спал я на повети, на сене: отворишь из избы дверь, перейдешь сенцы — тут тебе и повесть. А под повестью — хлев, слышно, как пыхтят коровы, похрюкивает боровок, вздыхают овцы. Марья Михайловна дала две чистых простыни, чистую подушку, одеяло. Хозяева, видимо, живут без нужды.

Утром бабка опять мытарила меня. Я знаю, что ее лечение мне не ко вреду, но знаю также, что покой — первое лекарство. Стараюсь лежать на повети один. Днем наблюдаю, как то и дело влетает под крышу и вылетает ласточка. Над моей головой ее гнездо. Слышу, бабка ведет внизу любовный разговор с курами, с утками, с боровком Васькой.

— Хрю-хрю-хрю... Ну, иди, жри! Ах ты, дурак паршивый, вывалялся как. Ах, Васька! Шишь вы, окаянные!.. Вот погоди, погоди, Петька... Я тебя к Покрову зарежу... Где твои куры, а? Где Пеструнька? Какой же ты после этого, к свиньям, курицам хозяин!..

Бабка весь день в работе, — сенокос тут же, возле избы, — она большущими огуменными корзинами таскает наверх сено и подваливает ко мне. Корзина больше бабки, бабка под ее тяжестью переламывается пополам и еле вздымается, кряхтя и охая, по крутой лестнице.

— Бабушка, тяжело ведь, — говорю ей.

— А что ж, батюшка, поделаешь? Пока сила есть, должна работать. Вот хозяин мой, когда жив был, помогал. А теперича... Седьмой год как умер, утонул. Он рыбак был, а цыганка наворожила ему смерть на воде, когда еще молодой был... А он все смеялся. «Вот, говорит, ворожейка твоя наврала как: до старости дожил, а жив, слава богу». А тут рыбачить поехали, один парень тонуть стал, он бросился спасать, парня-то спас, а самого утянуло в омутину, — бабка скосоротилась и засморкалась. — Вот после этого и не верь ворожейкам. И не хочешь, да поверишь.

Постояла, поохала, спросила:

— Ну как ноженька-то, не легче? Ужо я опосле-завтра в баньку тебя свожу. В баньке-то ловчей.

— Неудобно с женщиной, непривычно, — отвечаю я, улыбаясь.

— Вот те на! — взмахивает рукой бабка Фекла. — Какие узоры на тебе? Голые все на одну стать... Да мне и не раз глядеть ничего, едва вижу.

— А как же ты нитку в иголку вдевала сегодня утром?

— Ври! Когда это? Ха-ха... Да ты веселый... Вот к тебе тетка одна собирается, Овдотья, страсть такая богомольная, ханжа. Все о божестве, а сама...

Бабка Фекла спускается с корзиной вниз. Приходит старец-монах.

— Что, поправила ногу-то? А где она, бабка-то? Тут мои грабли у них... Вот они. Скажите, что я взял.

Он по-молодому залез наверх, снял грабли и пошел.

— Ну, оставайтесь со Христом! Оздоровливайте. Ужо я медку принесу вам. Знатный мед. Две колодки у меня.

Залезает ко мне, кряхтя и охая, черная пожилая женщина, тетка Овдотья, похожая на странницу. Усердно и долго крестится то ли на меня, то ли на ткацкий станок, что стоит в углу.

— Здравствуй-ка! Сказали мне, что вы всем интересуетесь. Вот богоявленный образ принесла вам, Микола угодник.

От подала мне грузную плиту из дикого камня, вершков шести в стороне квадрата. На камне вырезанное рельефное изображение св. Николая, почти все лицо сколото.

— Вот, батюшка, рассмотри. Чудотворный образ-то, в огороде хозяин мой нашел, супруг. Рылся в огороде, глядит — камень аккуратный, он ломом и долбанул в него, вот вишь лик-то испохаблен как. А камень-то в грязи был, не знатко ничего. Потом принес мне, — вымой-ка, говорит, чего-то на нем есть. Я смочила водой-то, глядь — Микола. У меня, у грешницы, аж ноженьки отнялись. Пошли, освятила, хозяин киоту сделал. Вот, когда пьяненький напьется, упадет пред образом на колени, плачет: «Микола угодник, покарай меня, подлеца, что я так тебя ахнул ломом-то! Ой, Микола угодник, я не знал... Прости ты меня, окаянного!..» — а сам горькими слезами обливается.

— Ты продаешь, что ли, образ-то?

— Да ты сдурел! — закричала тетка. — Чтобы я, да чтобы этакую благодать! Горы золотые отсыпь, не отдам. А вот что, господин хороший, — видать, из благородных вы, — обменяй, сделай малость, вот мои серебряные рубли старинные на наши деньги.

Я обменял два Екатерининских рубля.

— Вот спасибо, — тетка присела на сено возле меня и принялась вести беседу.

— Ты про Верушку-то слыхал, про красавицу-то нашу, про святую монашку-то?

— Слышал.

— Ну, вот, в тюрьме она теперича, в Костроме. Тайно хочу ехать к ней. Нас трое собралось. Вот деньги-то и надо, тюремщиков подкупить придется, чтоб ночью допустили к ней. А мать Вера из святых святая. Я пятнадцать лет знакома с ней. Может, у тебя тоже будет усердие матушке Вере денжат послать, о здравии твоём помолиться? Мать-игуменья испытывала Верушку-то по наущению дьявола: выгнала ее на снег она всё босая ходила — и сестер поставила следить за ней. Снег протаял от ее ног, она принесла игуменье в горсти талой землицы. Вот она какая. Слышь, пошли ей!

— Откуда, Овдотья, старинные денга взяла?

— Родитель, покойник, явился мне во сне, — зашептала она таинственно, — явился и спросил: «Нашла ли мое серебро?» — «Нет». — «Ищи под лавкой на повети». Вот и нашла. О, господи Христе, прости ты меня, грешницу. — Овдотья все время крестится,

закатывает глаза и вздыхает. Поднялась, поклонилась в пояс. — Так не пошлешь Верушке подарка-то? Хошь рублика два?

— Нет.

— Ну, прощай. А сколько бы ты за Миколу дал? Рублей пятнадцать дашь? Что, дорого?.. Ну, сбавлю... Лишь бы хозяин не узнал, супруг.

— Ведь ты ж за миллион не хотела...

— Да ведь... Деньги-то, кормилец, шибко нужны... Уж я бы, грешница, хорошему человеку продала.

На другой день сплю на сене, слышу:

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

Открываю глаза: Овдотья.

— Здравствуй, кормилец! А ведь я эту ночь видела тебя во снах, будто сидите вы с Верушкой и таково ли ласково разговариваете... Пошли, слышь, хоть сколько...

Чтоб отвязаться, я дал этой ханже полтинник.

— Вот спасет Христос! — схватила Овдотья монету. — Напишите на бумажке адрес ваш святой, я вам обязательно пришлю по почте письмецо от Верушки, а может, и просвирочку.

— Нет, не надо.

— Ну, спасет Христос, спасет Христос. А у нас теперича время самое рабочее, сенокос... Не опустят меня, боюсь, домашние-то. Да уж я схитрю маленько, мол, к племяннику уеду на субботу да на воскресенье, мол, хоть за ребятами там досмотрю. А сама, известно, к Верушке...

— Обманывать — грех.

— Иной грех во спасенье

— Прозеваешь, смотри: увезут твою Веру.

— Нет, не увезут: сердце слышит — застану.

Так я провожу дни: лежу на сене, читаю, печалуюсь на свою судьбу: солнце, за стеной — работа, девки песни распевают, а я лежу колодой. Вскарабкался по лестнице козел, поддел рогами бабкину корзину, сбросил вниз, прошелся по перилам, спрыгнул — в ко мне, уставился, смотрит, как бы размышляя: долбануть меня рогами или нет? А вечером пропел последний раз петух, и все куры стали садиться на нашесть. За ними последним взлетел на ночлег петух. Я отлично вижу весь курятник и стараюсь понять, о чем беседует петух. А разговор какой-то деловой. Петух осмотрел семейство и, видимо, спросил соседку, старшую: «Куда ж пропала одиннадцатая, десять только?» Соседка ответила ворчливо: «Куда-то ушла, а куда — не знаю. Где-нибудь тут, куда ей деться»... Петух

слетел на пол и петушком — часто-часто, бегом, вприпрыжку — в самый темный угол, где свален за дверью старый хлам. Заглянул туда: «Ах, вот ты где? Так-так-так»... И, чиркая пером о пол, прошелся гордо, как исправник возле пьяной бабы. Белая, в крапинках, преступница виновато вышла из темноты. Петух крикнул: «Куда!» — и долбанул ее в гребень. Она бросилась бежать к нашести. Петух пустил ей вдогонку самым крепким русским словом. Теперь все на местах, бок о бок. Куры дремлют. Петух еще долго что-то болтает им: то ли сказки на ночь говорит, то ли жалуется, что у него сегодня очень болит живот. Наконец засыпает и петух. До полночи. Ровно в двенадцать — не раз я это наблюдал по деревням — петух запоем «ку-ка-ре-ку». Покойной ночи, волшебник-петяка!

Вернулись хозяева. Тетка Марья, прогибая половицы, идет ко мне, вся пунцово-красная, потная.

— Устала, Марьюшка?

— Взопрела. Мокрешенька вся. Рубаха, хоть выжми. Ужо переоденусь, ужинать приходи.

Пшенная каша с маслом, лапша на молоке, чай.

— Черпай веселей, бабушенька, черпай! — ласково покрикивает Марья. — Не видишь, что ли?

— Вижу, — откликается согнувшаяся бабка Фекла и нечаянно опрокидывает на пол горшок из-под каши.

Марья хохочет; хозяин, сын бабки, брюзжит:

— Недавно ослепла, а уж не видишь. Чудо-юдо.

У Марьи привычка громко рыгать. Рыгнула и говорит:

— Советская-то власть ничего, да вот правителей-то надо переделать, которые по деревням-то понатыканы.

— А что? Грубые, что ли?

— Конечно — собаки. У меня хозяин был на общественных работах, мост ладили. И пришел из волости человек: «Давай лошадь ехать в Буй!» Я говорю: «Не дам». Позвали в исполком: «Почему не даешь?» — «А вот потому и не даю». — «Почему?» — «У меня избу не на кого бросить, одна баушка слепая»... — «Я тебя под ружьем в Буй отправлю». — «Отправляй! Больно боюсь я Буя-то твоего! Там мне брюхо не вырежут, такая же вернусь». А он: «Чёрт баба!» — А я: «Сам дьявол!» — «Ты не ругайся!» — «А ты тоже не ругайся!» Так и не поехала.

Бабка Фекла засмеялась:

— Да ведь тебя забоишься. Не всякое начальство устоит. Эвона ты какая ступа!

— А как у вас насчет браков, разводов?

— Разводятся у нас только мужики, — сказал хозяин. — И не бывало случая, чтоб развод заводила баба.

Марья утерлась ручником и прервала мужа:

— Была я как-то здесь на суде, просто из антиресу. Жену с мужем разводили. Правозаступник приезжал. Муж желал разводу. Судья присудил развод. Тогда заступник — он рядом с судьей сидел — вынул из кармана книжечку, открыл и подал судье, а сам пальцем указал: мол, вот тут прочти. Судья прочел, тоже вынул из кармана свою книжечку, дал заступнику прочесть. Тот прочел и опять свою книжку подал судье — мол, вот это местечко прочти. А потом сказал в народ, что судья обсудил неправильно, потому что оставил Василису не при чем: ей, по праву, должна отойти половина мужнина имущества. Судья ему и говорит: «Она жила только пять месяцев с мужем». А заступник судье: «Хотя бы пять минут. Ведь муж, Каблуков, увел ее из дому родителей, а ты, разводом, увел ее из дома мужа. Куда же ей? Это неправильно». Мы сидим, слушаем, толкаем молодуху в бок (молоденькая, как девчонка), замечай, мол, что говорит заступник. Она через три дня поехала к нему. Он повернул дело встречь. Муж увидал, что неустойка может быть, забоялся и с женой своей мировую. А уж их в совете и из книги выхерили. Стали опять жить по-старому, ругались.

После ужина бабка Фекла опять принялась меня тиранить. Я лег на скамейку носом вниз и в горести подумал: «Зачем все это?»

Бабка начала массаж.

— Пресвятая богородица!..

— Что-то рыбка-то не ловится! — перебила Марья и засмеялась. — Плохо, бабусенька, лечишь мужика-то...

— Пошто плохо... — обиделась бабка. — Не вдруг. Сшевеленую ногу выпользовать, не дитё родить...

— А я не раживала, — сказала Марья.

— Где тебе, ты вся салом заплыла, — вздохнул хозяин.

— Марья! — утерла бабка слюнявый рот. — Нogu-то надо потянуть. Пускай жила-то на свое место станет. Иди-ка, потяни. А то силушки во мне нету.

— Была сила, когда матка спать носила, — проговорил хозяин и задымил трубкой.

Марья бегом отомкнулась от моей ноги и апатично рыгнула. Мне сделалось не на шутку страшно.

— Ты мне ногу оторвешь! — закричал я.

— На вот тебе. Да что ты... Я легонько... Нежный какой, а?

Я схватился за край скамейки, Марья за ступню больной ноги, хозяин сапогом уперся в ножки скамьи, чтоб не поехала, бабка сказала:

— Тяни, со Христом, тяни.

Марье это ничего не стоит, здоровецкая Марья свободно вытянула бы с корнем из земли и порядочную березу. Но, отдать справедливость ее сердцу, тянула с жалостью, аккуратно, бережно.

Бабка захохотала:

— Тяни сильнее! Надуйся, да дерни... А потом и п....и.

Все засмеялись, Марья спросила:

— Что, больно ногу-то?

Бабка сделала массаж и обернула ногу намыленной куделью.

— А завтра, соколик, я те в баньке поправлю. Ежели толков не будет — езжай в город.

* * *

Как бабка правила мне в бане ногу, описывать не буду — неинтересно. Про баню же скажу. Не знаю, — парились ли вы в деревенских банях. Я мылся во многих: и в тайге, и в степи, и на Алтае. Но такой бани не видел. В ней — как в пекле, вот-вот стены вспыхнут. Я намылил голову и не смог смыть мыло, выскочил в предбанник, распахнул на улицу дверь. Вошел хозяин с соседом:

— Ты что же жар-то опускаешь? Настежь дверь.

Я сказал, что невозможно сидеть, жарища. Хозяин заглянул в парное отделение и улыбнулся:

— Это что за жара. Прямо холод. Волков морозить. Труба еще не открыта, да не наподавано. Ужо напалим, волосья затрещат.

— Запаритесь! — крикнул я.

Крестьяне загоготали.

После бани я сидел в избе. Вернулся из бани хозяин, выпил ковш воды. Пошли мыться женщины. Хозяин выпил еще ковшик. Я говорю:

Сейчас самовар скипит. Ты, хозяин, сам маленький, а пьешь — как конь после пожара.

Да разве чаем напьешься? Фу, жара, — он распахнул окно и выпил еще ковш.

Потом пришла Марья, вся краснехонька. От нее валил пар, как от горячей каши. Она принесла квасу. Оба они с хозяином навалились на квас, пили, как верблюды.

Нет, не напьешься, — сказала Марья. — Надо воды.

Я с удивлением смотрел на них. Городской человек давно бы лопнул.

Потом принялись за чай.

А где же бабушка Фекла? Неужели в бане? Ведь она умрет...

За ней отправился хозяин.

Эй, матушка! — раздался через дорогу его крик. Жива, нет?

Наконец приползла и бабка. В сущности, бабки не было: была сплошная краснота, сплошной пот, слякоть. Покачиваясь, села за стол. И только за чашку — грохнулась на под. Бабку унесли в сенцы, смочили голову. Бабка стонала. Потом повалилась на пол и Марья. Хозяин ничего, хозяин после чаю выпил еще ковш воды.

А утром все здоровехоньки, все на деле.

Утром же я уехал в город Буй.

* * *

А как из Буя ехал в Питер, возле Вологды, вблизи разъезда «Молочное» — горела большая деревня.

Пожар, пожар! — заскакало по вагону.

День был жаркий, тихий. Деревня занялась в середине. Видимо, вспыхнул амбар с сеном. С пашни, с поля, по дорогам бежал народ. По свежей, подсохшей пашне мчалась лошадь с бороной. Борона шлепала и крутилась по земле, вздымая пыль. Клубы дыма, сначала желтого, потом черного, как смоль, огромным столбом лезли кверху. И там, ветвясь, как гигантское дерево, одевались мрачной листвой из золота и сажии... Вот чудовищное дерево качнулось, пламя хлынуло на соседние избенки, и те вспыхнули как бы шутя и сразу.

Старая деревня горела.

1924 г.